

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВЕНОК

Сергей Белоконов	
Неизбежимый жребий	3
Елена Иванова	
Судьбы поэта чаша роковая.....	21
Владимир Бутенко	
Победа сердца	27
Сергей Рыбалко	
Ночь перед дуэлью	51
Михаил Петросян	
Лермонтов-художник	53

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Яков Абрамов	
Как мелентьевцы искали воли.....	65
Иван босый	78

ПОЭЗИЯ

Александр Мушаилов	
Стихотворения.....	109
Валентина Нарыжная	
Стихотворения.....	115

ПРОЗА

Василий Грязев	
Провинция	119
Станислав Подольский	
Рассказы	177
Иван Ряпасов	
Гроза мира.....	219

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Николай Блохин	
«Я... метил в русские Жюль Верны»	265
Вячеслав Головкин	
Крестьянская Русь в изображении Якова Абрамова.....	279

ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор Кустов	
Я – кавказец	285

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов	
Ставрополье в годы Первой мировой войны	305
Сведения об авторах	317

Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»
В. БУТЕНКО



*Литературное
Ставрополье
№ 2 (2014)*



© Правительство
Ставропольского края

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2014 г. № 2.**

Адрес редакции:
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел.: (8652) 26-31-50
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов
Дизайн, верстка: Д. В. Пушкарский

Сдано в набор 00.09.2014. Подписано в печать 00.09.2014.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ № 1042. Тираж 979 экз.
ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,
ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905726-15-6

К 200-летию
со дня рождения
М. Ю. Лермонтова

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВЕНОК

Неизбежимый жребий

(Версия гибели Тенгинского
пехотного полка поручика
Михаила Лермонтова)

Если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого непредставимого для нас и неповторимого ни для кого жизненного пути, который привел бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветленное величие таковы, что все человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости...

Даниил Андреев

Развязка: июль 1841 года

В то утро спалось.

Давеча вечером он хотел подняться пораньше и прокатиться на Черкесе.



**СЕРГЕЙ
БЕЛОКОНЬ**





Однако проспал. Был уже десятый час.

Михаил Юрьевич подошел к отворенному окну и сорвал горсть черешен. Ему нравилась пятигорская черешня.

Увидев во дворе гурийца Саникидзе, приказал ему подавать чай.

Заглянул в комнату Столыпина.

Монго еще спал.

Тогда Лермонтов запустил в него черешней и, несмотря на недовольное ворчание Монго, продекламировал:

Смело в пире жизни надо

Пить фиал свой до конца.

Но лишь битве смерть – награда,

Не под стулом, для бойца.

– погоди, он тебя еще достанет, – хмуро отозвался Столыпин, вспомнив потемневшую от гнева физиономию Мартынова, которому на недавней пирушке адресовал свой очередной экспромт Лермонтов.

Саникидзе принес чай.

Лермонтов пил, присев на смятую постель. Слышал, как ворочался Монго. Крикнул в открытую дверь:

– Не забудь на обед мороженое заказать. Я ухажу брать ванну, – и засмеялся, неожиданно для себя. – Не забудь Монго, что вечером мы званы к Верзилиным.

– Не лучше ли к Найтаки в казино? – отозвался после небольшой паузы Столыпин. В дверь вылетела раздавленная черешня и подкатилась к ногам Лермонтова.

– Ты же знаешь, я не люблю проигрывать, а мне в последнее время не везет. Туз червей меня подводит. Это верный признак, что надо переждать.

– Черви не только Пушкину улыбаются, но и Мартышу, – сострил Монго, но Лермонтов уже вышел.

Монго не обманул, и на обед, действительно, было мороженое.

Так или примерно в таком ключе можно было бы и развивать дальнейшее повествование, вплоть до резкого толчка в бок и покачнувшегося неба. Соблазн велик. Однако сам жанр «Версии» требует некоего критического голоса, размышления, беседы с читателем, совместного поиска. Ибо основные документальные материалы широко доступны, нет недостатка и в беллетристике, посвященной жизни Лермонтова, поставлены спектакли и сняты художественные ленты. И все же в результате мы имеем зачастую некий сусальный образ поэта, лишенный светотени, присущей ему глубины.

В литературе вообще нередко изображение трагической ситуации оборачивается фарсом. В жизни же фарс порой заканчивается трагедией. Так было, так случается и по сей день.

Как же, по всей вероятности, развивались события?

Ссора Мартынова с Лермонтовым произошла 13 июля 1841 года на вечеринке в доме Верзилиных. Вот так описывает ее Э.А. Шан-Гирей, урожденная Клингенберг, падчерица генерала Верзилина:

«Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бы-



вали собрания в ресторации, и именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать на собрания, а провести вечер дома, находя это приятнее и веселее. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменяв тон насмешки, он сказал мне: «Mlle Emilie? Je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la derniere fois de ma vie»¹.

«Ну уж так и быть, в последний раз, пойдете». Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л.С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить на свой язык а *gui mieux*². Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «*montagnart au grand poignard*»³.

(Мартынов носил Черкесску и замечательной величины кинжал.) Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, словно *roignard* раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз я просил вас

¹ Мадмуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни (фр.)

² Наперебой (фр.)

³ Горец с большим кинжалом (фр.)

оставить свои шутки при дамах», и так быстро от-
вернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться
Лермонтову, а на мое замечание: «язык мой – враг
мой», Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est
rien; demain nous serons bons amis»¹. Танцы продол-
жались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На
другой день Лермонтов и Столыпин должны были
ехать в Железноводск. После уже рассказывали
мне, что когда выходили от вас, то в передней же
Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов
спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за
это?» Мартынов ответил решительно «да», и тут же
назначили день».

За исключением некоторых деталей это объяс-
нение вызова совпадает с воспоминаниями Н.И. Ло-
рера, В.И. Чиляева, Н.П. Раевского, Полеводина, Н.Ф.
Туровского, А.П. Смольянинова, А.И. Васильчикова
и других. Да и сам Мартынов, отвечая на «вопрос-
ные пункты Следственной Комиссии», писал: «С
самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не
пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать
мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, на-
смешки на мой счет, одним словом, все, чем только
можно досадить человеку, не касаясь его чести. Я
показывал ему, как умел, что не намерен служить
мишенью для его ума; но он делал, как будто не за-
мечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому
назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом
откровенно, просил его перестать и, хотя он не обе-
щал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в
свою очередь, смеяться над ним, но действительно
перестал на несколько дней. Потом взялся опять за
прежнее. На вечере в одном частном доме, за два дня

¹ Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями (фр.)



до дуэли, он вывел меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома, я удержал его за руку, чтобы он шел рядом со мной; остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что прежде я просил его прекратить эти несносные для меня шутки; но что теперь предупреждаю, что если бы он еще вздумал выбрать меня предметом для своей остроты, то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял несколько раз сряду, что ему тон моей проповеди не нравится, что я не могу запретить ему говорить про меня то, что он хочет, и в довершение прибавил: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я никогда не отказываюсь от дуэлей, следовательно, ты никогда этим не испугаешь». В это время мы подошли к его дому. Я высказал, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта, и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова, когда он придет домой. Через четверть часа вошел ко мне в комнату Глебов. Я объяснил ему, в чем дело, просил его быть моим секундantom и, по получении от него согласия, сказал ему, чтобы он на другой же день, отправился к Лермонтову».

Как объяснить такую реакцию Мартынова на шутки Лермонтова, ведь он в «опросном листе», говоря об «остротах, колкостях и насмешках» поэта, тем не менее отмечает, что они «не касались до его чести»?

Несомненно, его подогревали в чувстве неприязни, как незадолго перед тем пытались столкнуть с Лермонтовым одного из поклонников Надежды Верзилиной-Лисаневича. И в данном случае семена

упали на благоприятную почву, ибо честь Мартынова была у многих под сомнением. Да и окружение Мартынова в лице Васильчикова, Мерлини было заинтересовано раздуть ссору, чтобы удовлетворить свое честолюбие. Наконец-то в их руках оказалась подходящая фигура.

Хотя установилось мнение, что секундантов было четверо и что Столыпина-Монго и Трубецкого решили просто не вмешивать в эту историю, вряд ли это так. Скорее всего, Столыпин и Трубецкой, наряду с другими лицами, являлись просто свидетелями поединка, но никак не его прямыми участниками. Только этим можно объяснить то, что в редакционной заметке одной французской газеты, поместившей в 1843 году столыпинский перевод «Героя нашего времени», говорится: «Г-н Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными». Атрибуция данного высказывания Б.Эйхенбаумом и Э.Герштейн не вызывает сомнений.

Итак, остаются два секунданта: Васильчиков и Глебов.

Глебов – со стороны Мартынова, Васильчиков – Лермонтова.

Впрочем, есть еще основания предположить, что у Лермонтова вообще не было секунданта. По капризу случая его интересы должен был представлять тайный недруг.

В троице – Мартынов, Васильчиков, Глебов – наибольшего доверия заслуживает Глебов. Однако и у него имелись в это время основания испытывать чувство недоброжелательности к поэту. Судя по эпиграмме «Милый Глебов», Лермонтов не упускал возможности метнуть остроту и в его адрес. Важные факты о характере одной из последних встреч Глебова с Лермонтовым содержатся в



«Дневнике» Дикова. Напомним сцену вызова на дуэль. Глебов ищет Лермонтова, чтобы обговорить условия поединка, и находит его за игрой в карты в кругу офицеров.

«На него, конечно, никто не обратил большого внимания. Между тем, Глебов подошел к столу и просил внимания у присутствующих здесь. На минуту все опустили карты и умолкли. Глебов в коротких словах объявил, что он выбран секундантом со стороны Мартынова, который просит Лермонтова быть в пять часов пополудни вблизи того кургана, о котором я уже упоминал и который находится не далее семи верст от Пятигорска.

– Буду, – сказал Лермонтов машинально и продолжал метать.

– Выслушайте условия, – повторил секундант.

– Пожалуйста, после. Теперь некогда мне до ваших условий. Игра мне дороже и Мартынова, и вас».

Не абсолютизируя достоверность приведенных Диковым фактов, тем не менее отметим, что они позволяют предположить, что, во-первых, Лермонтов перед поединком весьма нелюбезно обошелся с Глебовым, а во-вторых, предоставил самим секундантам установить условия поединка, то есть, отправляясь к Машуку, он ничего еще не знал о деталях предстоящей дуэли.

Глебов уходит, несомненно, оскорбленным, рассказывает Мартынову и Васильчикову о своем посещении. Не тут ли родился у тройки заговорщиков (вероятнее всего, генератором идеи был все-таки Васильчиков) дьявольский замысел?!

Арестованным после убийства поэта Мартынову, Глебову и Васильчикову, как ни странно, была



предоставлена возможность переписки, чем они не преминули воспользоваться для согласования показаний. Естественно, факты корректировались не в пользу Лермонтова, всячески затеняли истину.

Так, Глебов и Васильчиков пишут Мартынову в тюрьму: «Посылаем тебе брьюлон 8-1 статьи; ты к нему можешь прибавить по своему разумению, но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожжах беговых со мной; ты так и скажи... Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю (все это знают, судьба так хотела, тем более, что ты в третий раз в жизни своей стрелял из пистолета; второй, когда у тебя пистолеты рвало в руке, и это третий), и совсем не потому, чтобы ты хотел пролить кровь, в доказательство чего приводим то, что ты сам не походил на себя, бросился к Лермонтову в ту секунду, как он упал, и простился с ним. Что же касается до правды, то мы отклоняемся только в отношении к Т. и С., которых имена не должны быть упомянуты ни в каком случае. Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали».

Из приведенных выше отрывков переписки можно сделать вывод, что секунданты, вопреки утверждениям, не предприняли особых попыток примирить стороны, иначе ни к чему было бы напоминать Мартынову: «Надеемся, что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали».



Обращает на себя и фраза Мартынова о «бестии стряпчем» (это был некто Ольшанский), который о чем-то догадывался.

О чем?

Выяснить истину Ольшанскому не удалось, ибо, по указанию Николая I, дело было передано из Пятигорского окружного суда в военный и завершено в четыре дня.

Основной, на наш взгляд, вопрос поединка – о его дистанции. Это ключ к тайне.

На каком же расстоянии были установлены барьеры?

Сравним данные различных источников.

Васильчиков: «Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «сходись!»

Из акта от 16 июля 1841 года об осмотре места дуэли: «Привязав своих лошадей к кустарникам, где приметна истоптанная трава и следы от беговых дорожек, они, как указали нам, следователям, гг. Глебов и князь Васильчиков, отмерили вдоль по дороге барьер в 15 шагов и поставили по концам одного по шапке, потом, от этих шапок, еще отмерили по дороге ж в обе стороны по 10-ти шагов и на концах оных также поставили по шапке, что составилось уже четыре шапки. Поединщики сначала стали на крайних точках, т.е. в 10-ти шагах от барьера: Мартынов от севера к югу, а Лермонтов от юга к северу».



Отметим несогласование показаний студентов: 10 шагов и 15.

Полеводин: «Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться».

Булгаков: «Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце».

Любомирский: «Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах».

В «Дневнике» Дикова также говорится «о ничтожном расстоянии».

Таким образом, наиболее вероятной дистанцией поединка являются 6-8 шагов!

Случай для такого пустячного оскорбления невероятный. Вспомним, что Пушкин с Дантесом стрелялись на 10-ти шагах, а ведь там была задета честь жены, честь семьи!

Почему же 6-8 шагов, а не 15?

В такой ничтожной дистанции и скрывается, на наш взгляд, иезуитский расчет. Она объясняет и противоречивое поведение Лермонтова, и резкую смену его настроений перед поединком и на месте дуэли.

Поэта заманили в ловушку.

Во-первых, расстояние в 6-8 шагов автоматически отрезает путь к примирению.

Во-вторых, у стреляющего первым практически нет возможности промахнуться. А демонстративный выстрел в воздух означает новое оскорбление противнику и требует продолжения



поединка. (Не отсюда ли упоминание об условии трех выстрелов?)

Стреляющий первым Лермонтов не может, учитывая ничтожность размолвки и тяжесть грозящих ему последствий, целиться в Мартынова. Это было бы по сути обыкновенное убийство, на которое он, конечно, не пошел бы ни при каких условиях. Но и выстрелить мимо Лермонтов не мог, ибо дистанция столь ничтожна, что трудно выполнить безукоризненно эту процедуру.

Для Мартынова же дуэль на указанных условиях превращается попросту в фарс.

Что и говорить, ситуация сложилась весьма напоминающая поединок Печорина с Грушницким, с тем лишь отличием, что тут условия диктует Мартынов-Грушницкий. Вообще, возможность данной параллели мы вряд ли вправе игнорировать, ибо слишком много совпадений.

Незадолго до дуэли, как известно, Лермонтов был настроен весьма оптимистично, делился замыслами новых произведений, шутил с Катенькой Быховец и положил, между прочим, в карман ее золотое бандо.

На месте дуэли настроение поэта резко меняется. Он, похоже, растерян, отсюда – раздражение и желчность.

Лермонтов ищет выход из сложившегося положения и не находит его. Душевные колебания поэта хорошо отражены в записях Дикова: «Лермонтов хотел казаться спокойным, но на его лице выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и отпустил его тотчас же:

– Господа! Я стрелять не хочу! Вам известно, что я стреляю хорошо, такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах: убить его – то же, что раздавить муху».

Исследователи до сих пор спорят о том, как выстрелил Лермонтов и стрелял ли вообще. Общепринята версия, что он демонстративно выстрелил в сторону в воздух, как бы давая Мартынову понять свои дружеские намерения. Надо ли повторять, что подобное поведение было просто невозможно. Лермонтов делает единственный выбор: стреляет над самой головой Мартынова, соблюдая тем самым этикет.

Кстати, в дуэльных правилах на этот счет четко оговорено: «Стрелять в воздух имеет только право противник, стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его противник не ответил на выстрел или также выстрелил в воздух, считается уклонившимся от дуэли». А.Я. Булгаков в этой связи совершенно справедливо оценивает подобную ситуацию: «Он (Мартынов – С.Б.) поступил противу всех правил чести и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить».

Но Лермонтов выстрелил, соблюдая форму, и тем самым открыв Мартынову возможность ответного выстрела. В «Дневнике» Дикова читаем: «Лермонтов, злобно улыбнувшись, взглянул на него, поднял пистолет и выстрелил вверх над его головой». Здесь уместно вспомнить и дуэль Ставрогина с Гагановым в «Бесах».



Мартынов действительно имел право выстрелить в воздух и таким образом разрешить конфликт. Но он не сделал этого.

Почему? Жаждал крови? Отмщения?

Вряд ли.

Просто он должен был довести до конца спектакль, задуманный накануне.

Мартынов выстрелил в ногу противника.

(Вспомним попутно, что Грушницкий был ранен именно в ногу).

Вряд ли в планы тройки входило убийство Лермонтова. Скорее всего дело обстояло гораздо прозаичней: они хотели пустить ему кровь, проучить «выскочку».

Потому и врача не взяли, что надеялись на легкую рану.

Так бы оно и было.

Если бы в кармане мундира у Лермонтова не лежало золотое бандо кузины.

Произошел рикошет.

Естественно, участники дуэли, не предвидевшие подобного исхода, были шокированы. Они приписали смерть Лермонтова неудачному выстрелу Мартынова. Отсюда и слова: «... приписываем этот выстрел несчастному случаю». Откуда им было знать, что Мартынов попал именно туда, куда целил.

Окровавленное бандо было обнаружено в кармане мундира. По свидетельству Н.П. Раевского, «в день похорон m-le Бытховец как сумасшедшая прибежала, так ее эта новость поразила, и взяла фероньерку, как она была, даже вымыть, не то что почистить не позволила». По другим сведениям, Дмитриевский, взявшийся передать бандо Быховец, потерял его. Во всяком случае следы бандо-

фероньерки потеряны, а жаль – ведь эта золотая вещица могла много прояснить в истории гибели поэта.

Хлынул проливной дождь, смешивая кровь с пылью. Затухающее сознание Лермонтова еще фиксировало охлаждающие струйки воды и ватные громовые раскаты. Какие-то бесплотные, но земные тени мелькали перед взором.

Исполнилось, подумал он.

*В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладающей струей.*

Участников поединка арестовали. Впрочем, Мартынов вскоре понял, что ему ничего серьезного не грозит, и быстро оправился от потрясения.

Царь благосклонно отнесся к убийце и секундантам. Наказания они получили минимальные, если не символические. От публичной эпитимии синод освободил Мартынова уже 25 ноября 1846 года – всего через пять лет после смерти Лермонтова вместо 15, назначенных Киевской духовной консисторией.

Рассказывают, правда, что по старости лет Николай Соломонович стал чрезвычайно набожным и завел обычай 15 июля ежегодно ездить в один из окрестных монастырей, чтобы отслужить там панихиду по убиенному поэту.

Возможно, он все-таки осознал, что в истории Отечества ему так и суждено остаться убийцей Лермонтова.

Погибшего на дуэли, как самоубийцу, запрещалось хоронить по церковным обрядам.



«Принесли и гроб, – вспоминал Н.П. Раевский, – и хорошо так его белым глазетом обили. Мы уже собрались тело в него класть, когда кто-то из публики сказал, что так нельзя, что надо сперва гроб освятить. А где нам святой воды достать! Посоветовали нам на слободку послать, потому что там у всякой казачки есть святая вода в пузырьке за образом, да у кого-то из прислуги нашлась. Мы хотя, в гроб тело положивши, и пропели все хором «Святой Боже, святой крепкий...» и покрестились, даром что не христиане были, но полагали, что этого недостаточно, и очень беспокоились об отсутствии священника. Тут же из публики и подушку в гроб сшили, и цветов принесли, и нам всем креп на рукава навязали. Нам бы самим не догадаться.

На другой день опять мы со Столыпиным пошли к священнику. Матушка-то его предупредила, но он все же не сразу согласился, и пришлось Столыпину ему, вместо 50-ти, 200 рублей пообещать. Решили мы с ним, что, коли своих денег не хватит, у Верзилиных занять; а уж никак не скупиться. Однако батюшка все настаивал на том, что, по какой-то-де главе Стоглава дуэлисты причтены к самоубийцам, и потому Михаилу Юрьевичу никакой заупокойной службы не полагается и хоронить его следует вне кладбища. Боялся он очень от архиерея за это выговор получить. Мы стали было уверять его, что архиерей не узнает, а он тут и говорит:

– Вот если бы комендант дал мне записочку, что в своем доносе он обо мне не упоминает, я был бы спокоен.

Мы попробовали у Ильяшенко эту записочку для священника выпросить, но он сказал, что хуже будет, когда узнают, что такого человека дали без

заупокойных служений похоронить. Сказали мы это батюшке, а он опять заартачился...»

В общем, очень русская история с похоронами получилась. Батюшке для верности пришлось икону Михаила Юрьевича посулить – в серебряной ризе и камнями драгоценными. Но он все-таки чуть не подвел. Опоздал. Литию и панихиду вызвался отслужить случившийся на похоронах католический ксендз. Лютеранский священник гроб благословил. Только тут наш батюшка объявился. И сразу кинулся музыкантов прогонять...

И все же похороны вышли торжественные.

С могилы брали землю, камешки на память.

Только недолго лежал Михаил Юрьевич в пятигорской могиле.

Через полгода добилась-таки Елизавета Алексеевна Арсеньева у царя разрешения перевезти тело внука в Тарханы.

Во второй раз Лермонтова похоронили в семейном склепе 23 апреля 1842 года.

Тут можно было бы поставить точку, однако не могу не привести один маленький штришок в заключение повествования. В архивах Кавказской духовной консистории хранилось пространное кляузное дело по поводу тех самых злосчастных 200 рублей, взятых батюшкой за погребение Лермонтова. Священник Пятигорской Скорбященской церкви Василий Эрастов фискалил на сей счет архиепископу Новочеркасскому Афанасию: «Усматривая, что протоирей Александровский, погребши честнее, в июле месяце сего года, тело наповал пулею убитого на дуэли г. поручика Лермонтова, в статью метрических за сей год книг об умерших означенного Лермонтова не вписал доселе и данные, как слышно и как видно из прила-



гаемого при сем от чиновника мне уведомления, двести рублей ассигнациями в доходную кружку причта не внес».

В затянувшейся на 13 лет бюрократической переписке по духовной линии бросается – не может не броситься в глаза – одна деталь: нигде даже мельком не упоминается о том, что похоронили великого русского ПОЭТА.

А Лермонтов глядел со своих горных высот на всю эту земную подлость и суету, любовался величественными вершинами Кавказа, слушал шепот звезд.

Кончилась его брэнная жизнь, пришло его бес-смертие.

Судьбы поэта чаша роковая

Лермонтов

1. Жизнь

«Я сын страданья...»

Лишь мудрый сердцем –
 не годами
Так мог сказать во цвете лет
Сам о себе: «Я сын страданья...»
Он с детства был душою сед.

Не знал он матери родимой,
Да и отца недолго знал он.
Не знал, не видел херувима,
Что прилетал порою в залу,

Незримо вился над лампадой
И с тихим ужасом следил
За неребяческим тем взглядом,
Который ход следил светил

За шторою, в окне широком...
Как будто бы кометы век
Назначен в жизни одинокой
Ему.

Престранный человек...

И, рано разминувшись с теми,
Кого всем сердцем бы любить



**ЕЛЕНА
ИВАНОВА**





Хотел,
 он стал меж них как демон.
Событий развивалась нить

Стремительно
 за тем клубочком,
Что прямо к цели вёл такой,
Когда свинец поставил точку
На жизни, горько изжитой.

Он в двадцать шесть глядел устало,
Как будто вечность прожита.
Что было мёдом, ядом стало,
И вот – подведена черта...

2. Любовь

«Мне любить до могилы творцом суждено...»

Обычный смертный с виду, а не бог,
Не светский лев – ему претило это,
Он никого очаровать не мог,
Как не чарует, но страшит – комета!

Какой вослед подняться должен вихрь.
Дабы, порядок заданный нарушив,
Ему в объятых принести своих
Земную жертву – трепетную душу!

Ну, а закон царящий между тем
Цепи железной крепко держит звенья.

Как евнух, стерегущий свой гарем,
Бесстрастен он, и груб, и чужд сомненья.

Какая страсть всеильная нужна,
Чтоб одолеть земное притяженье!
Ему равновеликая жена
Не стала грозной той кометы тенью.

И были те, которых мелкий бес
Подталкивал вояж свершить полночный.
Но пламень, полыхающий с небес,
Их возвращал назад, земле порочной.

...Комета одинокая летит
И рассыпает свой огонь искристый.
И всё звезда с звездой говорит,
И всё блестит в тумане путь кремнистый.

3. Смерть

«Кто близ небес, тот не сражён земным...»

На свете нет печальнее сюжета...
Звучало бы неискренне «прости...»
Сам рок назначил палача для жертвы,
Сгодился, кто у чести не в чести.

И, чтобы завершить сюжет тот странный,
Явив к сражённому свою любовь,
Склонясь, его омыло небо раны,
И хищная земля впитала кровь.



Бурлил Машук, ручьи вскипали пенно,
Небесный бушевал, ярясь, простор,
Как будто пляской молний вдохновенной
Угасший оживить пытался взор,

Чтоб оставался всё поэт меж теми,
Кем пренебрёг, и стал бы им как друг.
И луч блеснул меж туч! И гордый демон
Добычу свою выронил из рук –

Мятежный дух умолкшего поэта.
И тут же непорочный херувим
(Всё в довершенье странного сюжета)
Воскликнул:

«Мой! Он будет мной храним».

Судьбы испита чаша роковая,
И кухенройтера водою залит ствол.
...Гроза стихала, в даях открывая
Кавказских гор божественный престол.

Теперь, поэт, живи, на рок не сетуй:
Земли ты выше, выше облаков.
Душа твоя свои порвала сети,
И нет предела ей, как нет оков.

4. Эпилог

*« ...Всё, что любит меня, то погибнуть должно
Иль, как я же, страдать до конца».*

Несчастен тот, кто был рождён
Во лбу с отметиной пророка.

Как громом, знаньем поражён,
Душой он старится до срока.

Он, кто тоскою занемог,
Как будто чуждый между всеми.
Поцеловал его, как Бог,
В крутое темя гордый Демон.

И Ангел мечется над ним,
Гонимым, страждущим Поэтом,
Пытаясь тщетно его дни
Наполнить радостью и светом.

Порой прорвётся светлый луч
В его смятенный мир – и что же?
Тотчас же стая мрачных туч
Над ним смыкается тревожно.

И кто делить бы захотел
Его удел – делить не может:
Не для земного тот удел –
Его раздавит, уничтожит.

Со смертью словно бы шутя,
Стоял под дулом пистолета
Он как безвинное дитя
С тоской в груди:
За что мне это?!

И было даже не дано
Ему в конце кровавой драмы



Вспомнить бывшее давно
И напоследок крикнуть:
– Мама!..

И вот сражён... Лежит в крови,
И гнев небес ярится, страшен!..
Так страстно жаждавший любви
И ненависть врагов стяжавший,

Зачем он жил? Зачем страдал?
О небеса, хоть нам ответьте!
Ведь он бы с радостью отдал
За миг того, что не познал,
Ему ненужное бессмертье.

Победа сердца

...Ах, Мишель, Мишель, надлежит ли поручику, бывшему гусару, командиру лихой сотни, принимать так близко к сердцу вошедшую в силу весну, томный запах перволистья и мимолетную пресную свежесть талой воды, доносимую ветерком из подворотен и дворцовых палисадов? Что за бабская слезливость при виде звездного узора, выложившего широкую полосу неба вдоль Невского проспекта, по которому мчалась карета в дом Карамзиных? Впрочем, здесь, на севере, и Венера, и другие светила казались ближе и родней. А на Кавказе, куда по воле службы он должен отбыть, ночи были неприветливы, – не обычная темнота, а тьма тьмущая ложилась на горы и ущелья, зачастую окутанные туманной дымкой. И когда среди вершин всё же открывалось небо причудливыми косяками и по-южному ярко вспыхивали звезды, его преследовало ощущение таинственной торжественности и незримого присутствия высших сил, сверху глядящих на Землю и как будто проникающих исподволь в



**ВЛАДИМИР
БУТЕНКО**





душу, наполняя ее и восторгом, и мятежной тревогой, и предчувствием кончины...

Лермонтов ехал на прощальный ужин, по обыкновению, размышляя и рассеянно поглядывая на фасады зданий и встречные экипажи. Мягко сгущались апрельские сиреневые сумерки. В памяти всплывали строки Додо Ростопчиной, посвященные ему. Как всё же талантлива милая княгинюшка, столь неожиданно ставшая другом за время его отпуска! Поэтическое напутствие Евдокии Петровны (она позволяла называть себя Додо только близким) было ответом на его стихотворение, написанное в альбоме. Оба они были известны публике, как писатели. Но княгиня, не переставая хвалить лермонтовские стихи, как бы подтверждала его неоспоримое лидерство в русской поэзии.

Одобрительные отзывы, в этот свой приезд, слышал он повсюду и от других, даже от собратьев-писателей. Известность, пришедшая со дня написания «На смерть поэта», ширилась. Разошедшееся в рукописях, это стихотворение принесло ему, однако, не упоение славой, а осуждение самодержца и арест, первую ссылку на Кавказ. «Отправлен по следам Пушкина», – с горечью думал он тогда о себе. И эти негаданные испытания, постигшие его, как бы навек связали с любимым поэтом. Мучительной ценой и страданиями окупил он каждое написанное им слово! И странно, только в последнее время, после выхода книг и журнальных публикаций, он стал осознавать, что его творчество может влиять на настроение людей и ход мыслей. Иные не стесняются твердить ему в глаза «первостепенный поэт», «продолжатель Пушкина», «надежда отечественной словесности», что неизменно вызывало в



душе и протест и... отзвук обволакивающего эле-
ем, манящего, где-то глубоко спрятанного, тщес-
лавия. И, ловя в себе это смешанное чувство, доса-
дуя на себя за слабость и зависимость от чьих-то
снисходительных слов, вместо улыбки благодар-
ности Лермонтов отвечал довольно сдержанно,
иногда – двусмысленно и едко, ставя почитателей
в тупик.

Демон просыпался в душе его, гневил, требо-
вал покуролесить. Он едва удерживался, чтобы не
объявить с вызовом, что пишет не ради того, что-
бы одаривали любезностями и называли поэ-
том! Но желание это, к счастью, быстро угасало...
Он ведь и сам не мог решительно понять, откуда
дар сочинительства. Знал лишь одно, что волен в
собственных желаниях и пишет о том, что трево-
жит, что подсказывает разум и требует сердце! И
это до мук болезненное творческое своеволие не
ведает границ, ничто не могло и не может поколе-
бать его. «Вдохновение» – понятие индивидуально
означенное. Каждый из сочинителей определит его
по-своему. Для него же, прежде всего, это – явив-
шийся вдруг божественный зов. Будто бы наполня-
ет душу властный неведомый гул, обретающий ис-
подволь различные звуки, которым сопутствует
порыв чувств, возносящий в чудное, непостижимо-
сладостное забытьё...

Лермонтов с неборимой тревогой вспомнил
о приближающемся отъезде, на память повторил
строки Додо:

*Ему, – поклоннику живому
И богомольцу красоты, –
Там нет кумира для мечты,
В отраду сердцу молодому!*



Да уж какие там, на военных перепутьях, кумиры! Снова экспедиции в глубь чуждого далекого края, в аулы, ожесточенные схватки с горцами, кровь, убитые и раненые... А всё-таки чеченцы – славные ребята, храбрые воины. Умирают с высоко поднятой головой, бьются изо всех сил и до последнего патрона. Да и не было примеров, по словам сослуживцев, среди них предательств. А сколько раз в жизни светской, в офицерском кругу стерегла его клевета, ложь, измена! И чаще всего не открыто, а втайне, подленько...

Весь сегодняшний день он не находил покоя, расстроенный неожиданным приказом Клейнмихеля, дежурного генерала генштаба (хотя до этого дана была отсрочка), прервать отпуск и в течение 48-ми часов выехать в свой полк. Стало быть, недавнее предсказание гадалки, воспринятое им тогда с пренебрежением, не пустые слова!

Ничто не помогало ему вернуть обычную твердость духа, – даже чтение романа Купера. Он пробовал сочинять, но мысли рвались и казались мелкими. И снова на миг усомнился он в своем поэтическом назначении, как было давеча на балу у графа Воронцова-Дашкова, когда спросил у писателя Сологуба, верит ли тот в его талант? Беллетрист, неизменно державшийся с дворянской надменностью, разразился панегириком, а в глазках таилась что-то нехорошее, скользкое, недружелюбное...

Тот бал дорого стоил ему за бездумную оплошность, за желание привлечь к себе дам, пофорситься: он надел армейский сюртук с укороченными фалдами. Великий князь Михаил Павлович заметил это и помрачнел. Выходка только что приехавшего с Кав-



каза поручика, непочтение к форме в присутствии царственной особы, грозила неприятностями, вплоть до ареста. И если бы не хозяйка бала, великодушная и мудрая графиня, которая поторопилась вывести гостя-своевольца через черный ход, а затем уговорила Великого князя снизойти к молодости Лермонтова, то гроза наверняка бы грянула...

Повеселел и отвлекся он лишь под вечер, просматривая две свои скромного вида, недавно вышедшие книжки: «Герой нашего времени» и «Стихотворения». Обе были тиражом в тысячу экземпляров, обе пестрили корректорскими ошибками и цензурными исправлениями. И всё же это, напечатанное по настоянию его друзей, как бы материализованное из его творчества – роман, двадцать шесть стихотворений и две поэмы, – было теперь для него самым дорогим богатством. Книжки, как бы отделившись от него, жили теперь собственной жизнью, они, по уверению приятелей, перехватывались из рук в руки, вызвали споры. И всё же, как это мало, ничтожно мало! Он представлялся, особенно при встречах с литераторами, не стихотворцем, а любителем, сродни музыкальному дилетанту. И при этом ощущал в душе досаду от несправедливости, преследующей его. Он мечтал издавать свой журнал, сочинять романы, жить в столице, вращаться в кругу родных по духу людей, которые ему всегда рады в доме Карамзиных. А вместо этого обязан носить мундир, служить на Кавказе в действующей армии, терпеть незаслуженную опалу Великого князя и самого царя!

«Должно быть, мой недостаток в том, что слишком впечатлителен и помню многое, многое из прошлого, – больно отдалось в душе. – Не забываю



ни радостных дней, ни страданий. И упорно ищущей справедливости. Очевидно, поэтому возник слух, что у меня дрянной характер? Да, я субъективен. Часто не уступчив и неестественен, в силу дурацкой природной застенчивости. Но, видит Бог, никому не желал зла и не делал его сознательно. «Зло порождает зло», – это убеждение я сознательно приписал Печорину. Мы оба самолюбивы! Да, как и всякие добропорядочные господа. Еще в молодости придумал я шкалу и расставил по ней различные степени чувства, которое принято называть собственным достоинством, как-то: самолюбие, гордость, высокомерие, спесь. Две последние ступени присущи негодьям и глупцам. Они не в состоянии оценить добро и добродетель, красоту искусства и могущества разума. Остроту или случайную насмешку воспринимают, как оскорбление. Они так устроены, таковы в естестве своем. Французик Барант, трусишка и подлец, песчинка среди подобных личностей. И разве могу я покорно сносить их пренебрежительность, диктат, угрозы? Христос и Магомет не доступны оскорблению, ибо недосыгаемы в своей вере, мудрости и силе духа... Да и дьявола оскорбить также невозможно, как это ни звучит кощунственно. А мы, смертные, мечемся. И нет среди нас ни одного святого, и никогда не будет! И только искусство, музыка и поэзия даны роду человеческому в утешение, – это понимал Пушкин лучше всех, – они способны примирить с жизненными невзгодами и неизбежностью исчезновения с Земли. «Мы рождены для вдохновенья, для чудных звуков и молитв!» Именно так, именно так... Все мои строки, посвященные тем, кого любил и ненавидел, это – история моей души, духа, разума. Она не



менее интересна, чем история какого-то народа или государства. Хорошо, что успел об этом написать в предисловии ко второму изданию «Журнала Печорина». А прежде многое было сочинено мною по случаю, небрежно, наспех. Да я и не собираюсь это обнародовать! Юношеский бред, а не пьесы... Хотя излишне выправленные стихи не трогают, тускнеют, как вяленый изюм. Пушкин нарушал грамматику, добиваясь слитности слов и чувств. Да и мне, в редакции у Краевского, пришлось отстоять ошибку: «Из пламя и света рожденное слово». Слова сами командуют подчас поэтом. Да и нечего делать, если «из пламени» в строку не ложится...»

Он вновь с безысходностью стал размышлять о том, что предстоящая служба не позволит ему всецело отдаться литературе. Мысли об упущенной из-за дуэли с Барантом возможности жениться на княгине Щербатовой, что могло дать шанс на выход в отставку, живо напомнили ему о прекрасной вдовушке и о других женщинах, которыми увлекался и любил...

Любил... Так ли это? И можно ли к этому причислить то чувство, исполненное радости и страха, умиления и ревности, которое он десятилетним мальчиком испытал к милой конопатой девчужке? И как определить самую любовь, если чувство это, умирая к одной, возникает, но уже совершенно иначе – к другой? Что это: чудная мечта, жажда наслаждений, желание подчинить женщину своей воле, инстинкт продолжения рода или поиск открытий в себе и других? «Любить... но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно...» Его обвиняют в байронизме и скептицизме. Да, он сполна отдал в молодости дань моде. Но ныне думает и чув-



ствует по-новому! И запасов из пережитого хватит еще надолго, не на один роман... Невероятно, но он так и не встретил той единственной, которая бы жертвенно разделила его судьбу. И, быть может, те скоротечные минуты счастья, умиления и восторга и те часы страданий от женских измен, разочарований и предательств имеют иное название? Бог весть. Видимо, плоть и дух живут по особым, никем ещё не разгаданным законам...

Где ты, юность чистосердечная, и первая страсть, до сих пор бередящая душу? Даже теперь, спустя одиннадцать лет, таилось в памяти состояние потерянности, которое угнетало в Середникове, имении Столыпиных, где гостил он вместе с бабушкой. Семья Сушковых проживала по соседству и наезжала туда. Он познакомился с Екатериной, Катенькой -«Черноглазкой», как звали ее родные, у Верещагиных, а здесь, в столыпинских владениях, на аллеях тенистого парка сблизился и – влюбился. Девушка была старше его и готовилась «на выданье». И ухаживание университетского полупансионера восприняла как забаву, сделав его своим «чиновником по особым поручениям». Мишель носил ее зонтик, шляпку, перчатки, которые, – о, ужас! – не единожды терял. Живая, с причудами и острым умом, Катя и благоволила, и дурачила, и доводила до слез откровенными насмешками.

Тогда он впервые осознал, что бог наградил его весьма заурядной наружностью, страшным несоответствием между тем, как выглядел внешне и – миром внутренним. С детства испытывал Михаил некую потаенную зависть к добропорядочным семьям, к мальчикам, у которых были родители. А он, выросший в глухом пензенском имении, окру-



женный дворней и воспитателями, был лишен родительской ласки. Он почти не помнил покойной матушки, был разлучен с отцом, которого бабушка отрешила от воспитания сына. Одиночество, окружавшее его с ребяческих лет, разбрасывало тенета, обособляло. Да, жил в их доме троюродный брат Аким, его сверстник, бывали и другие гости с отпрысками. Многому научили его мудрые и бывалые гувернеры-иностранцы. Бабушка Елизавета Алексеевна, любя единственного внука безумно, подчинялась его капризам, устраивала всяческие забавы, старалась, чтобы жизнь Мишеньки была интересной, вольной и радостной. На святки устраивались костюмированные представления, в которых участвовала вся дворня, а на снежных горках разыгрывались целые баталии! Рисование, чтение художественных книг да поэзия, милость Господняя, своим добрым волшебством отогрели маленькую душу и наполнили его существование смыслом. Он помнил себя постоянно что-то сочиняющим: то стишки, то эпиграммки, то послания, то прозаические этюды. Он с радостью публиковал свои произведения в рукописном журнале. Елизавета Алексеевна, стараясь дать внуку всестороннее образование, отнеслась поощрительно к его поэтическим шалостям, которые захватывали всё настойчивей, унося в грёзах далеко и рисуя картины пленительные...

И вот теперь, встречаясь с Катенькой, зная, что приземист, неуклюж, он смиренно терпел выходки длинноволосой фурии и, не смея признаться в любви, как оглашенный, писал стихотворения, в которых воспевал её и выплескивал боль несбывшейся мечты: «С тобою грех мне лицемерить,



ты слишком ангел для того...» В сущности, мальчишка, наивный и доверчивый, который, теряясь, даже улыбался криво. То, что другим подросткам, с приятным лицом и фигурой, давалось заведомо и безо всяких усилий, ему нужно было доказывать, подавать себя в выгодном свете, увлекать речами и остротами, именно завоевывать внимание прелестниц. Они же эту его вынужденную защиту, способ самоутверждения воспринимали, как желание выделиться.

С той печальной влюбленности и, особенно когда стал офицером, взял он на вооружение эту манеру поведения, привычку дерзить, вести себя в обществе подчеркнуто независимо. С близкими людьми, которыми дорожил, он был простым и откровенным, а среди светской коловерти, среди чуждых ему людей, вельмож, карьеристов, богачей-самодуров, самонадеянных мерзавцев, точно надевал маску! И молва о Лермонтове, злобном, мстительном и надменном, благодаря языкам, которые «страшнее пистолета», неслучайно гуляла по обеим столицам. Что ж, «белеет парус одинокий»... Белеет, но не в бушующем море, а во мраке бездушных, убийственных гостиных...

И всё же ни одна барышня, ни одна женщина впоследствии не позволяли себе так пренебрегать им, как мадмуазель Сушкова! Особенно мучительно было вспоминать, как вместе с подругой, которая открыла ей глаза на горячее чувство юноши, «этот ангел» учинил ему допрос. Мерно хлопая сложенным веером по ладони незанятой руки, сидя на скамье под липой, Катенька, как взрослая, задавала ему каверзные вопросы притворно-строгим, театральным голосом, требуя, чтобы не



только сознался в своем чувстве, но и подробно описал, в чем оно заключается. А он, пламенея во все лицо, то отводя взгляд, то взирая на «предмет своей страсти» затравленным волчонком, что-то мямлил, говорил невпопад срывающимся голосом...

Через четыре года, каким бы мелочным ни покажется этот поступок, он отомстил ей! Узнав, что семья Лопухиных против женитьбы Алексея, его приятеля, на Екатерине Сушковой, Михаил ударил за ней, прославшей в свете кокеткой, и вскружил голову, что и расстроило предполагавшуюся свадьбу с Лопухиным. И, посчитав миссию выполненной, он скандально порвал с влюбленной пассией, назвав её в письме к кузине Александрин Верещагиной, «летучей мышью, которая цепляется за всё, что придется». Он твердо полагал, что всякий имеющий честь должен действовать в ответ на причиненное ему зло по известным канонам справедливости – наказание, месть, отмщение, возмездие. Возможно, с той, которую прежде обожествлял в стихах, он и обошелся жестоко, но побеждать беса, увы, удастся далеко не каждому и не всегда...

И было ещё у него, юного стихотворца, вслед за разлукой с черноокой насмешницей, бурное увлечение Наташенькой Ивановой, дочерью драматурга, также красавицей, и также легко пренебрегшей им. Остались адресованные ей стихотворные посвящения, а в душе при воспоминаниях о Натали, тлела теперь лишь сентиментальная грусть. Но тогда, о, боже мой, он стоял на краю губительной пропасти, уверившись сгоряча, что не способен добиться взаимности у своих избранниц...



Господь судил ему повстречать тогда же, в юности, небесное существо, память о котором доселе затмевает прочих женщин! Это Варя, Варенька, сестра друга по университету. Её дружная московская семья жила на Малой Молчановке, по соседству с домом, который снимала Елизавета Алексеевна. У милых Лопухиных он бывал почти ежедневно. И непринужденно-насмешливое отношение к живой, отзывчивой и развитой девушке, казалось, не предвещало их сближения. С троюродным братом Акимом, они даже позволяли себе, шутя, дразнить ее: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», – за что она корила их и осуждающе качала головой. Но однажды весенним закатом, направляясь в кругу молодёжи в Симонов монастырь, ко Всенощной, Михаил оказался на скамье повозки рядом с этой темноглазой, очаровательной мечтательницей. И оба они почувствовали, что произошло нечто странное, необыкновенное в эти минуты! Они вдруг увидели друг друга, ощутили неведомое блаженство от этого открытия, так желанно сблизившего их. С этой поездки он всецело принадлежал своей возлюбленной, столь ранимой и несравненной Вареньке! Впервые в жизни повстречал он женскую душу, понимающую его! Точно по мановению свыше, стихи Михаила стали иными, – глубже и напряженней. Он уже не ощущал себя «нищим», тем героем своего стихотворения, которое посвятил Сушковой, – он теперь уже не мог им быть, ибо девушка отвечала взаимностью. Ах, сколько счастливых часов провели они вместе, сколько нежных и взволнованных слов сказано было ими, какими неудержимыми и восторженными были признания!



*...Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает,
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей...*

Лермонтова оторвал от воспоминаний громкий надсадный вороний грай. Птицы, обсыпавшие верхушку старой липы, устраивались на ночлег. Их крики зловеще, громче колес, отдавались в весенних потемках. К счастью, возница повернул в переулок. Впереди, напротив зажженных газовых фонарей лоснились булыжники мостовой. В открытое окно второго этажа углового здания выплескивалась чудесная мелодия, – кто-то играл знакомый этюд Шопена.

Он поехал, поправил на шее завязанный платок и с горькой усмешкой подумал, что, пожалуй, до скончания века будет нести в сердце вину и сожаление о том, что так самоуверенно отнесся к обещанию Вареньки ждать, выйти за него замуж, когда «милый Мишель», окончив юнкерскую школу, станет офицером. Она, всем сердцем преданная ему, хотя отец и недолюбливал избранника, наверняка сдержала бы свое слово. Стараясь сохранить покой в доме Лопухиных, Мишель переписывался не с ней, а с её сестрой Марией. Незримая нить, связывающая влюбленных, казалась неразрывной. Однако служба в лейб-гвардейском гусарском полку во многом изменила его, бросив в коловерт светской жизни. Блистательные балы, изобилие молодых красавиц и дам, всевозможные



увеселения и пирушки закаруселили среди высшего столичного круга. То, что он волочится за Сушковой и ничуть не скрывает этого, разумеется, стало известно Варе. А он не мог объяснить, – да это было и немислимо! – что «делает роман» ради её же брата Алексея...

Навек запомнился ему и тот день, когда подали письмо, в котором сообщалось, что Варвара Лопухина дала согласие стать женой отставного майора Бахметьева, богатого помещика-холостяка. От столь внезапной потери он едва не лишился сознания! Ведь даже представить было невозможно неотвратимую разлуку с той, которую и на расстоянии никогда не забывал, любил сокровенно и знал, что любим ею, и верил в бесконечность этого обоюдного молодого чувства...

Карета остановилась. Окна дома, снимаемого Карамзиными, были освещены, вдоль широкой улицы стояли экипажи приехавших гостей. Лермонтов легко взбежал по ступеням крыльца. В прихожей, сбросив на руки седовласого лакея свою шинель и подав форменную фуражку, отрывисто бросил:

– Доложи!

А сам подошел к высокому, в полный рост, зеркалу. Он был в армейском мундире, но без погон. На шее чернел завязанный шелковый платок, охваченный высоким белоснежным воротником рубашки. Лицо показалось ему смуглей и бледней, чем обычно. А глаза – устало опустошенными и грустными. Эту ночь, обуреваемый раздумьями, он действительно спал скверно. Светлый вихор надо лбом выделялся среди темно-русых волос шире, чем прежде. «Неужели седею?» – удивился он своему неожиданному открытию...



– Милый Лерма! Как я рада вас видеть! – прозвучал за спиной звонкий голос Софьи Николаевны, хозяйки салона. – Все уже здесь. Ждем только вас!

Он порывисто обернулся, взял руку этой обворожительной, статной женщины, припал губами к ее удлиненной, отдающей свежестью ладони и взглянул исподлобья. Сердце ёкнуло: «Покинуть этот дом, эту красавицу, круг родственных душ... Покинуть ради походных биваков, невежественных болванов и диких аулов... И, вероятно, навек!»

Однако ничем не выдал своего смятения:

– Я нахожу покой, дорогая Софи, только под этим кровом. Возможно, сегодня последний раз в жизни...

– Полноте, Мишель. Прошу не стенать и не хныкать, чтобы предстоящая дорога выдалась легкой! Идемте, Додо заждалась вас...

В гостиной было довольно многолюдно: Ростопчина, Александра Смирнова, братья Карамзины, Вяземский. Среди незнакомых дам и бравого черноусого ротмистра сидела в уголке Наталья Николаевна Пушкина. Они были знакомы уже не первый год, но близко не сходились. Лермонтов уловил её сосредоточенный взгляд и, невольно улыбнувшись, издали кивнул. Она также ответила легким движением головы. И он, считавший её недостойной гения и даже причастной к гибели Пушкина, впервые ощутил странное желание начистоту поговорить с этой женщиной, стоявшей с Пушкиным пред алтарем...

– Ну-с, сердечный друг, не припасено ли вами напоследок чего-нибудь новенького? – лукаво блестя глазами, спросила Софи.



– Да, да! – требовательным тоном родственницы подхватила рослая Александра Осиповна Смирнова, тряхнув гривкой белокурых волос. – Уж побалуйте, господин поручик, нас своим талантом.

– Наверняка бы побаловал, ежели б ведал, под каким соусом его готовят или подают сыром, – отшутился Лермонтов, прищуриваясь от яркого света. – Увы, Александрин, нынче я с пустыми руками.

– Так напишите сейчас, как в прошлый приезд, год назад! – предложила Смирнова, урожденная Россетти, со свойственным южанкам веселым упрямством. – Глядели, глядели в открытое окно и написали шедевр. Или почитайте нам стихотворения по выбору.

– Позвольте просто напомнить строки, написанные в вашем альбоме:

*Что ж делать?...Речью неукусной
Занять ваш ум мне не дано...
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно...*

– Грустить сегодня запрещено! – решительно возразила хозяйка и, взяв Лермонтова под руку, повела к Ростопчиной. – Дорогая Додо, заставьте улыбаться нашего поэта. По крайней мере, уймите его нерусский сплин.

И он с трепетной радостью поцеловал руку поэтессы, маленькую и легкую, как у девочки. И продолжительным взглядом ответил на ее взор, теплый, дружеский, слегка печальный. Додо для этого прощального вечера выбрала карминное платье из штофа, с большим декольте, украсила грудь рубиновым колье. Высокая прическа, открывшая



ее маленькие розовые ушки, в которых сияли треугольные серьги, очень шла ей, делая еще моложе и прелестней.

– Вы сегодня выглядите, как греческая богиня! – полушепотом воскликнул Лермонтов.

– Почему же – греческая? – удивленно вскинула свои длинные ресницы приятельница.

– Потому, что у вас классический профиль. Если останусь жив и вернусь с Кавказа, непременно нарисую ваш портрет. Я думаю, для успеха женщины, пишущей стихи или выступающей на театре, необходимо непреложное условие: она должна быть красива. Предмет искусства и поэзии, прежде всего, – любовь. Представьте пигалицу, вопиющую о собственном чувстве. Нос картофелиной, глазки, как зернышки, ноги короткие, как у оловянного солдата, а сия чувственная особа страдающе молит: «О, приди ко мне, мой любимый и страстный! Я осыплю тебя поцелуями!»

– *C'est trop!*¹ – протестующе воскликнула Ростопчина.

– Я говорю, как думаю. Кроме жалости и отвращения, это уродство ничего вызвать не может. А нашему брату, мужчине, многое прощается. Он не обязан пленять красотой! Более того, красавчики вызывают у меня отторжение. Мужчина должен быть храбр, умен и великодушен. И ему, женскому рабу, достаточно пасть пред ней на колени и просить у избранницы милости. Она – владычица мира. Женщина, её красота – кумир поэтов и служителей муз. Вот я и говорю, Додо, что бог дал вам талант в придачу к красоте!

¹ – Это слишком! (фр.)



– Да, не хотела бы я попасть к вам на язычок, – то ли с укором, то ли с сожалением проговорила княгиня. – Вы, Лерма, как всегда, бросаетесь в крайности. Внешность дается богом и природой. И если есть среди нас земная богиня, несравненная по женственности, красоте и уму, то это – Натали Пушкина. Потеря мужа, страшное несчастье изменили её, но не сделали менее прелестной. Взгляните на неё исподволь. Разве может кто-либо из нас сравниться с её скульптурной фигуркой или глазами, отливающими, как мокрый чернослив?! Она – само совершенство. Только Натали могла быть достойна великого человека!

– Узнаю поэтическую натуру! Но так ли это? Не слишком ли была она при жизни мужа благосклонна к тем, кто волочился и оказывал недвусмысленные знаки внимания? – резким голосом перебил Лермонтов.

– Моп амі, вы противоречите сами себе, – укоризненно покачала головой Додо и усмехнулась. – Сначала вы мне доказывали, что женщина обязана быть прекрасна, а теперь, если она такова, вы хулите её за то, что ею восхищаются и ухаживают мужчины.

– Ничуть, о, мудрейшая! Я говорю о нравственности.

– И я тоже! Упрекнуть Наталью Николаевну, поверьте, даже мне, светской даме, существу страстному, не в чем. Софья Николаевна – её подруга. Она охарактеризует вам Натали лучше всех. Софи, если не ошибаюсь, гостила в доме Пушкиных как раз в тот час, когда Александра Сергеевича привезли с дуэли. И едва ли не последней она видела его перед кончиной. Вы же, много пережив-

ший, знаете, – горе измеряется глубиной, которую ничем и никак не подделаешь. Натали была на грани умопомешательства. И только недавно прервала добровольное уединение в родовом гнезде. Нет, Мишель, вы относитесь к Наталье Николаевне несправедливо. И будете об этом жалеть...

Лермонтов промолчал. Вздохнув, достал из кармана мундира табачную коробку, прикурил пахитоску от свечи канделябра. Вновь уловив добрый, опечаленный взгляд приятельницы, произнес дрогнувшим голосом:

– Жутко тоскливо. Прощаюсь! Прощаюсь навсегда... Не хочу уезжать! И чувствую, как по-доброму изменился здесь, в вашем кругу, вообще, в столице. Даже сентиментальным стал. Сегодня, когда ехал по Невскому, увидел удивительно ясные и чистые звезды, как будто говорившие одна с другой. И слезы навернулись... Почему-то стал сильнее ощущать природу, интересоваться людьми и не судить их прежними мерками. И всё больше думаю о российском обществе, о народе нашем, – и приглушенно заговорил по-французски. – *Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir.*¹

– Я с вами согласна. Слова достойны афоризма, – заметила Додо, искоса наблюдая, как некоторые из гостей раскланиваются с хозяйкой и выжидающе останавливаются у двери. – Мишель, с вами хотят проститься. Ужин пройдет в узком кругу.

¹ – Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не зная этого (фр.)



Короткие минуты, когда он обнимался и обменивался репликами с приятелями, и пожимал руки незнакомым молодым людям, среди которых запомнился светловолосый прапорщик, глядевший на него с благоговением, растрогали Лермонтова. Обойдя кружок Ростопчиной, оживленный братьями хозяйки, блистательными гвардейскими офицерами, он прошел вдоль ряда красных кресел, пахнущих кожей, и стульев, расставленных так, чтобы гостям было удобно общаться. Совершенно случайно в тот момент, когда Лермонтов остановился напротив Натальи Николаевны, её две дамы-собеседницы и усатый гусар поднялись и удалились к выходу. Она, не скрывая удивления в своих огромных, завораживающих глазах, встала и приятельски протянула руку. А он, ощутив, как кровь прихлынула к вискам, странно оробел... Неловко поцеловал благоухающую ладонь... Неуклюже прошел к свободному креслу...

– Мы одновременно посещали Карамзиных не один раз, но... Почему-то вы избегали меня, Михаил Юрьевич, – с доверительной теплотой проговорила Пушкина, и он отметил её приятный грудной голос и четкую речь. – С того дня, когда моя сестра передала мне листок с вашим стихотворением «На смерть поэта», я заочно полюбила вас, как человека и единомышленника. Я нашла в этом стихотворении некое утешение, поняла, что мою скорбь разделяют и другие. В такие страшные дни это важно. Потом я узнала, что вы понесли лишения и были наказаны ссылкой на юг, и это еще больше заставило меня относиться к вам с глубоким уважением. Поэтому я хочу, пусть запоздало, поблагодарить вас за стихи о покойном муже, за то, что всегда хорошо отзываете-



теть о нем. Мне об этом говорили и Жуковский, и Вяземский.

– Весьма польщен вашей оценкой литературных опытов, – обретя привычное состояние духа, Лермонтов взглянул в глаза Натали. – Я только слышал о вас, встречал вас, но совершенно не знал... Каюсь! Точно незримая преграда стояла между нами. Не знаю, почему свет так враждебно настроен ко мне. Я никому не делал зла, старался быть искренним. А за это подвергся отчуждению и остракизму!

– Мне это знакомо особенно, – понимающе кивнула Натали, и её глаза подернула тень. – После гибели мужа весь мир земной, казалось, восстал против. Возможно, бог и наказал меня за что-то, но только не за измену. Я любила и поныне люблю одного мужа. Как верно сказал Ларошфуко: «Великое чудо любви заключается в том, что она унимает кокетство». Мне оно было неведомо, потому что никто не мог сравниться с моим Сашей...

– Я давно намеривался выразить вам, самому близкому человеку Александра Сергеевича, восхищение его творчеством и поклонение! Я никогда бы не постиг счастья созидания, тайных глубин поэзии, если бы не стал прилежным учеником Александра Сергеевича. Я не преувеличиваю!

Наталья Николаевна заинтересованно склонилась, и его окатил восторженный озноб от сознания, что перед ним первая красавица России, любившая и любимая гения! Её темно-русые волосы были расчесаны на пробор и уложены с необыкновенным искусством, так что локоны ниспадали к ушам, открывая лоб, который пересекала по верхнему краю фероньерка, золотая цепочка с изумру-



дом в дорогой оправе. Восхитительно сидело на ней и зеленое платье, с шаровидными рукавами, отороченными кружевцами, плотно облегающее грудь и узкую талию. Нечто магнетическое было в выражении ее лица с чудесной матовой кожей, в её плавных жестах...

– Сначала я переписывал его произведения в тетради, затем переделывал их, придумывал иные окончания. Сочинил, подражая Пушкину, целую поэму «Кавказский пленник». С ранних лет я неоднократно бывал на Кавказе, лечился там минеральными водами. Тема знакома, вот я и вообразил трагические картины... И сам не заметил, как стали получаться, складываться оригинальные стихи... – Лермонтов смущенно покраснел и вдруг спросил: – Как вы считаете, Наталья Николаевна, только ответьте откровенно, могли бы мои произведения понравиться вашему мужу?

Натали, размышляя, на мгновенье отвела взгляд.

– Безусловно! Я убеждена, что он не сдержал бы восторга, как всегда радовался новым талантам. Иногда он снится мне, и мы беседуем, хотя я не запоминаю, о чем... Я до сих пор как бы чувствую его присутствие, интуитивно следую его подсказкам... Вы наверняка бы стали с ним друзьями!

Лермонтов посмотрел в сторону, стараясь скрыть предательски повлажневшие глаза. Сердце колотилось как бешеное!

– Сегодня у меня самый печальный и самый счастливый вечер в жизни, – признался он, доверчиво понизив голос. – Счастливый потому, что я узнал вас и услышал то, о чем даже не мечтал. А печальный... верней, прощальный, оттого, что едва ли я



вернусь с Кавказа... Точно камень лежит на груди... А наемни ездил я с приятелем к немке-ворожее. К той самой Александре Филипповне, что предсказала вашему мужу смерть от «белого человека». А Дантес, как мне известно, блондин... И она нагадала мне, что больше не быть в Петербурге, что «ожидает меня отставка, после которой уже ничего не пожелаешь». Я посмеялся было, поскольку в тот день продлили отпуск. Ан вышло, что она не ошиблась.

– Милый Михаил Юрьевич, не верьте предсказательницам. Это грех. Это от лукавого. Нами распоряжается Господь. Молитесь и надейтесь на его помощь. Вы молоды и умны, вас ожидает блестящая будущность! Только об одном вас прошу: поберегите себя там, в баталиях кавказских. Будьте благоразумны. Теперь вы принадлежите не только себе, но России. Я буду ждать вашего возвращения. Сердце мне подсказывает, что всё будет славно!

– Если я вернусь, я заслужу ваше прощение за былую отчужденность и холодность. Я ведь воспринимал вас как бесчувственную светскую львицу, неприступную красавицу. А нашел искреннего и близкого по духу человека...

– Мне вас прощать не за что, – ласково промолвила Натали, вставая. – Напротив, я винюсь, что раньше не сказала вам, Михаил Юрьевич, о своей любви к вашему творчеству. И особенно рада, что, вопреки, как вы выразились, «неприступной красоте», вы подошли ко мне, как к другу... Извините. Il faut partir!¹

¹ Нужно ехать! (фр.)



Карамзины с удивлением наблюдали за этой затянувшейся беседой, зная враждебность Мишеля к Пушкиной и дивясь столь быстрой перемене, произошедшей с ним.

Вечер подходил к концу, и Лермонтов всё острее ощущал безвозвратный бег минут. Наконец, лакеи открыли двери в столовую, и оставшиеся гости двинулись туда.

– Наталья Николаевна тронута, что вы подошли к ней и наговорили комплиментов, – с радостью сообщила хозяйка, ведя его под руку. – Жаль, что уехала. Мы очень дружны. Я не знаю сердца отзывчивей и добрей, чем у нее... Мне кажется, Мишель, у вас улучшилось настроение. Уж не она ли тому причиной? Ну, и как вам наша красавица? Повержены в прах?

– Повержен. Но не только красотой. Вы правы, Софи. Есть сила иная, неодолимая... Я побежден её сердцем.

Ночь перед дуэлью

(Отрывок из драматической
поэмы "Гроза над Машуком")

Что наши страсти и страданья
Пред неизбежностью конца?
Всё прах... Лишь в вечном
мирозданье
Бессмертна мысль и дух творца.
Когда пробыёт мой час
последний
И я уйду во цвете лет,
Я знаю: зависть, ложь и сплетни,
Как змеи, выползут на свет.
И на безвременной могиле
Они гнездо себе совьют.
Но чувства те, что в сердце
жили,
Со мной бесследно не умрут.
В них дух мятежный и
свободный
Навек останется витать
В сердцах и душах благородных
И к воле, к разуму взывать.
С тяжёлой думой, как на тризне,
Познав всю боль душевных ран,
Я с отвращеньем в книге жизни
Читаю подлость и обман.
В любви и дружбе лицемерье,
Притворство, маски без лица...
Слепую зависть, недоверье
И лесть в улыбке подлеца.
Но я рождён для битв,
для славы,
Душой мятежной наделён.



**СЕРГЕЙ
РЫБАЛКО**





Зачем ко мне, о Боже правый,
Несправедлив судьбы закон?
Как лист, оторванный от ветки,
Так я судьбой своей гоним.
Живу, как птица в тесной клетке,
И воли жду, тоской томим.
Душа свободы жаждет, света,
Без пут увидеть этот мир...
Как тяжелы мне эполеты,
Как душен царский мне мундир!
Эх, унести бы в край далёкий
Под сени липовых аллей,
Чтоб вновь увидеть тёмный локон
И звёздный блеск родных очей!
Чтоб, заглушив тоску и муку,
Отраду в сердце обрести
И перед вечною разлукой
Сказать последнее "прости".
Ужель я так и не увижу
Черты любимые, глаза?
О, Варя, Варя...¹
Гром всё ближе...
Ужель сгущается гроза?..

¹ Варя – Варвара Лопухина, юношеская любовь поэта.

Лермонтов-художник

Конечно, Лермонтов прежде всего художник слова. Тем не менее, исключительный интерес представляет его творческое наследие и в области изобразительного искусства.

По двум причинам.

Во-первых, как иллюстративный материал к его литературным произведениям. И, во-вторых, как одна из первых попыток запечатлеть природу Кавказа средствами изобразительного искусства – в живописи и в графике. Ведь во времена Лермонтова Кавказ оставался для большинства населения России «terra incognita» – землёй неизвестной. Фотографии ещё не существовало. А путешествия по Кавказу были связаны со многими опасностями. Так что в каком-то смысле Лермонтову принадлежит честь первооткрывателя Кавказа и в русском изобразительном искусстве.

Сохранился детский рисунок Лермонтова, сделанный на Горячих водах в 1825 году, когда его впервые привезли в Пятигорск и он был поражён дикой первозданной приро-



**МИХАИЛ
ПЕТРОСЯН**





дой Кавказа. На рисунке изображены горы, среди которых сразу угадывается Бештау. Но это ещё не рисунок с натуры, а как бы рисунок по памяти – этакое обобщённое воспроизведение панорамы гор-лакколитов Кавказских Минеральных вод, которые произвели неизгладимое впечатление на мальчика, выросшего в Средней полосе России. И впоследствии, приезжая на Кавказ, Лермонтов никогда не расставался с путевым блокнотом и рисовальными принадлежностями.

Особенно плодотворен в этом отношении период первой ссылки на Кавказ в 1837 году – в наказание за брошенный именитой петербургской знати вызов в стихотворении «Смерть поэта». «Бесстыдное вольнодумство, более чем преступное», – написал царю про эти стихи шеф жандармов Бенкендорф. «Приятные стихи, нечего сказать», – отвечал ему Николай Первый. – Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить того господина и удостовериться не помешан ли он, а затем поступим с ним по закону».

Судьба поэта была предрешена: прапорщик Лермонтов получил назначение в действующую армию на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, расквартированный недалеко от Тифлиса.

К месту назначения Лермонтов прибыл только к первой половине октября. А спустя два месяца ему вышло прощение, и он из Тифлиса отправился назад – в Санкт-Петербург.

«С тех пор, как я выехал из России, – незадолго до этого писал Лермонтов своему близкому другу Святославу Раевскому, который тоже понёс наказание – за распространение стихотворения «Смерть поэта», – поверишь ли, я находился до сих пор в непрерывном странствовании, то на пере-



кладных, то верхом; изъездил линию всю вдоль от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии; одетый по-черкески, с ружьём за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал. И везу с собой порядочную коллекцию...»

Из всех рисунков, привезённых поэтом в 1837 году с Кавказа, уцелело всего восемь. Шесть из них сделаны в Грузии: автолитография «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби», карандашный рисунок «Развалины на берегу Арагви в Грузии» и четыре, названия не имеющие. На них изображены: башня в ущелье (очевидно, Дарьяльском), другое ущелье с движущейся по дороге арбой; девушки, танцующие на плоской кровле грузинского дома (его часто используют как иллюстрацию к поэме «Демон»), и тифлисский Майдан с видом на Тифлисский замок.

Картины Лермонтова, относящиеся к 1837 году, изображают Эльбрус, какой-то грузинский пейзаж (полотно это известно под названием «Кавказский вид с саклей»), горное ущелье, вид Тифлиса со стороны Авлабарского предместья и караван верблюдов возле скалы, находящейся недалеко от Царских колодцев в Кахетии.

Все эти работы имеют, помимо эстетического, географического и этнографического значение.

Известный лермонтовед Ираклий Андроников, совершивший летом и осенью 1952 года путешествие по тем самым местам, где бывал в 1837 году Лермонтов, документально установил, что все зарисовки сделаны с натуры и по ним можно восстановить, как эта местность выглядела более ста лет назад.



Для нас, ставропольцев, особый интерес представляет написанная маслом красочная картина «Эльбрус. Вид с Бермамыта». Остаётся только удивляться, с каким безошибочным художественным чутьём Лермонтов угадал, с какой точки надо писать величайшую вершину Европы. Ведь и сегодня считается, что самый величественный вид на Эльбрус открывается именно с Бермамыта.

В 1837 году по дороге на Кавказ Лермонтов заболел и, приехав в Ставрополь, лёг в госпиталь. Но болезнь не помешала ему общаться с находившимися здесь же на лечении ссыльными декабристами, совершать прогулки по городу и его окрестностям. И по уже сложившейся у него привычке стремился занести свои новые впечатления на бумагу. В память о пребывании в нашем городе сохранилось три рисунка. Это Волобуева мельница на речке Ташле в районе Бибердовой дачи. На втором рисунке тот же пейзаж, но сделанный с другой точки и надписью рукой поэта «После прогулки на Волобуеву мельницу». Особый интерес для историков и этнографов представляет собой третий рисунок – Сцены из ставропольской жизни (май 1837 г.), на котором изображены лица, схваченные прямо на улицах нашего города. Примечательно, что все они из числа военнослужащих – ещё одно подтверждение репутации Ставрополя как прифронтового города, где находились на лечении раненые и располагалось командование Кавказской оборонительной линии.

Позже стараниями того же Ираклия Андроникова стали известны другие работы Лермонтова на кавказские темы.

Естественно, Лермонтов – художник оставил нам и драгоценнейшие зарисовки столь любимых им Горячих и Кислых Вод.



Сохранилось несколько карандашных набросков Пятигорска, в том числе городского бульвара, относящийся к 1840 году. Прекрасен написанный маслом вид на Пятигорск с Елизаветинской галереи на Горячей горе. Он датируется 37-38 годом. На переднем плане склон Машука, по которому идёт дорожка к гроту в скале, впоследствии получившему название Лермонтовского. В глубине – раскинувшийся у подножья горы городок. Вдали – серебристая цепь Кавказских гор с возвышающимся над ней Эльбрусом.

Исследователей жизни и творчества поэта давно занимала мысль: как создавались лермонтовские картины, написанные маслом? Возил ли он с собой мольберт? Или брался за кисть потом – по памяти, по сделанным с природы наброскам?

Счастливым случай помог Ираклию Андроникову дать на этот вопрос совершенно точный ответ.

В 1921 году в Стокгольме на русском языке вышел роман «Герой нашего времени» под редакцией профессора Ляцкого. «Украшением книги, – отмечал автор рецензии на это издание, – служит воспроизведение неизданного рисунка Лермонтова, ещё раз подтверждающего художественные способности Лермонтова». Сорок лет спустя, ознакомившись с этой рецензией, Ираклий Андроников обратился в Русско-Шведский институт и Королевскую библиотеку с просьбой прислать фотокопию той страницы, на которой изображён неизвестный рисунок.

Оказалось, это тот же самый вид Пятигорска с Елизаветинской галереи, что на картине 1837-38 годов. С незначительными изменениями композиции. И это позволяет считать, что и другие живописные полотна Лермонтов создавал на основе своих предварительных зарисовок.



Лермонтов – один из немногих русских писателей, собрания сочинений которых выходят с его собственными иллюстрациями.

Вкушая, вкусих мало меда...

Публикация зрелых произведений Лермонтова, начиная с 1836 года, открывается стихотворением «Умирующий гладиатор».

*Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена:
А он – пронзённый он лежит.
Во прахе и крови скользят его колена.*

Стихи о трагической судьбе некогда свободного человека, который предпочёл смерть жалкой участи раба. Где-то осталась семья, дом... Но что знати и толпе сражённый гладиатор? «Он презрен и забыт... освищенный актёр»...

Это в начале творческого пути. А в конце его в числе последних стихотворений 1841 года сходное с «Умирующим гладиатором» по тематике и ситуации стихотворение «Сон» – одно из самых загадочных в русской литературе.

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана;
По капле кровь точилась моя.*

А между двумя этими стихотворениями – «Смерть поэта», «Памяти Одоевского», «Завещание», «Выхожу один я на дорогу», поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Беглец», «Мцыри», роман «Герой нашего времени», в которых Лермонтов снова и снова, с какой-то непостижимой настойчивостью обращается к той же теме – теме смерти, небытия.



Ещё Белинский, сумевший первым разглядеть в молодом начинающем поэте великий талант, отметил, что в отличие от светлой жизнеутверждающей поэзии Пушкина в лирике Лермонтова преобладают элегические тона, мотивы неудовлетворённости, одиночества, вселенской тоски.

Эта особенность лиры Лермонтова объясняется несколькими факторами: здесь и дань модному тогда байронизму, и факты из его собственной биографии... Ранняя смерть матери, вынужденная разлука с отцом, его преждевременная смерть... Неудачные юношеские любовные романы. Сама его внешность... Обоих первых поэтов России – Пушкина и Лермонтова – современники находили некрасивыми. Но Пушкин был очаровательно некрасив, а Лермонтов по-простонародному, по-мужицки. Наверное, это приносило ему немало душевных страданий в кругу светских львов и львиц. (Хотя в памяти Белинского, навестившего Лермонтова на гауптвахте после дуэли с де Барантом, он остался другим – с прекрасным, необыкновенно одухотворённым лицом; так меняется облик человека в минуты душевного подъёма). Всё это, естественно, не могло не отложить свой отпечаток на личность Лермонтова, на его характер, на его мировосприятие... Отсюда и его сетования на обделённость судьбой, особенно в последний год жизни в письмах и разговорах, в частности в связи с неудачной попыткой выйти в отставку... Как не хватало этому гениальному юноше всеобщего признания, участия и любви.

Будем признательны Белинскому за то, что он ещё при жизни Лермонтова поставил его в один ряд с Пушкиным и Гоголем и предсказал ему великое будущее.



На протяжении всего своего творческого пути в стихах и прозе Лермонтов постоянно обращается к теме смерти, будто специально примеряет её на себя. Именно эти размышления привели его к написанию повести «Фаталист», вошедшей в роман «Герой нашего времени».

За игрой в карты в компании молодых офицеров заходит разговор о predeterminedности судьбы. «К чему пустые споры? Давайте испробуем на себе, – предлагает молчавший до того в углу поручик Вулич. Все отказываются. Печорин, как бы провоцируя Вулича на безрассудный поступок, предлагает ему пари. Тот снимает со стены пистолет, приставляет к виску и нажимает на курок. Осечка! «Пистолет не заряжен», – раздаются голоса. Тогда Вулич, отведя в сторону пистолет, вторично нажимает на курок. Раздаётся выстрел, пуля глубоко застревает в стене...

Но что самое интересное: внимательно вчитываясь в Лермонтова, начинаешь понимать, что не смотря на постоянную игру в прятки со смертью, он не верит в свою конечную гибель. То, чего он ищет, вовсе не смерть, а как бы иная форма бытия.

Вернёмся к стихотворению «Сон».

*Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня – но спал я мёртвым сном.
И снился мне...*

То есть, он как бы мёртв и в то же время как бы живёт в другой реальности – ему снится сон. Здесь впервые в русской, а может быть, и в мировой поэзии, реальность переходит в ирреальность, а потом наоборот.



Или в «Любви мертвеца»:

*Пусть холодною землёю
Засыпан я,
О друг! Всегда, везде с тобой
Душа моя.
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл*

И, наконец, он прямо говорит именно о таком понимании ухода из жизни в стихотворении «Выхожу один я на дорогу»:

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться иль заснуть!-*

*Но тем холодным сном могилы...
Я б хотел навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.*

Действительно ли Лермонтов воспринимал смерть как иную форму бытия или пытался заставить себя поверить в это, здесь вы не найдёте ни капли общего с религиозной верой в загробную жизнь. Это явление совершенно другого порядка.

Скорее всего, это была всё-таки игра. Ибо у Лермонтова в каждой строчке высвечивает острый трезвый ум, как впоследствии у Некрасова. И он постигал действительность в одинаковой мере и художественным чутьём и силой своего аналитического ума. (Вспомним, его знаменитую «Думу» или



предисловие к «Герою нашего времени», где Лермонтов даёт ёмкую и точную формулировку одного из основополагающих принципов художественной литературы – типизации.)

Вот прямое подтверждение этого предположения:

«Что до меня касается, то я смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь».

Эти слова, вложенные им в уста Печорина в повести «Фаталист», можно отнести к самому Лермонтову. Он не страшился умереть, во всяком случае, не позволял себе бояться смерти.

Вот почему согласно кодексу чести своего времени он дрался на дуэли с де Барантом и не мог не принять вызов Мартынова, им самим же спровоцированный.

Последняя дуэль и смерть Лермонтова у подножия Машука породила множество версий.

Долгое время общепринятой была та, согласно которой во всём виноват несносный характер Лермонтова, его привычка постоянно подшучивать над своими приятелями и знакомыми, причём часто очень едко, что множило число его врагов.

В советские времена, когда во всём было принято видеть происки политических врагов, наибольшее распространение получила версия о заговоре против гордого независимого поэта, нити которого вели якобы прямо в Петербург, в Зимний дворец.

Сегодня наиболее правдоподобной и приемлемой представляется версия, не исключаящая заговора (сговора), но не политических врагов, а ближайшего окружения поэта. Эти молодые люди–



отпрыски знатных фамилий, очень богатые, бездумные прожигатели жизни, собирательный образ которых дан в знаменитой лермонтовской «Думе» («Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно...»), не понимали, не отдавали себе отчёт в том, что замухрышка-офицер с большими неподвижными глазами, стихотворец (а кто тогда не писал стихов, даже Мартынов) и автор модного скандального романа – гений, человек, стоящий неизмеримо выше их. Этого им и в голову не приходило. Для них он был кем-то вроде бедного родственника да к тому же с невыносимым характером. И они решили проучить своенравного Мишеля.

Только этим можно объяснить и особо жёсткие условия дуэли, и непонятное поведение секундантов с обеих сторон. Они явно проигнорировали желание Лермонтова пойти на мировую («Я отдаю тебе выстрел», – сказал он Мартынову). Но ни в ком не встретил поддержки и понимания. .. Мартынов долго целился. Он не хотел убивать Лермонтова. По-видимому, намеревался нанести лёгкое ранение в ногу. Пуля попала в карман сюртука, куда Лермонтов сунул взятую на счастье фероньерку (ободок для волос) у Катеньки Быховец, своей молоденькой родственницы. Они встретились в Железноводске, где Лермонтов провёл последний день перед дуэлью, и долго гуляли по железноводскому парку.

Пуля, ударившись о металл, изменила направление полёта и пробила навывлет легкое и сердце.

Смерть наступила почти мгновенно.

Что это – воля проведения? То самое, что привело к гибели поручика Вулича, погибшего не от выстре-



ла из пистолета, а от руки пьяного казака, случайно встреченного той же ночью по дороге с офицерской пирушки домой?

...Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю.

Эту строку из первой Книги царств Лермонтов поставил в качестве эпитафии к поэме «Мцыри» за три года до смерти у подножия Машука.

Сегодня мы можем рассматривать её как эпитафию к жизни и творчеству самого поэта.

Как мелентьевцы искали воли

*(Эпизод из доброго
старого времени).*

– Эге! В старину-то бывали такие дела, каким теперь уж не бывать...

Рассказчица остановилась и многозначительно закашлялась. Все поняли, что начнется рассказ, и подвинулись ближе. Слушатели все принадлежали к зеленой молодежи, понаехавшей в деревню на летний отдых после зимних петербургских занятий. Рассказчица была, напротив, старая, беззубая старушка, промышлявшая продажей бубликов, семечек и других деревенских лакомств. Несмотря на различие возрастов и профессий, между слушателями и рассказчицей существовали самые теплые отношения: рассказчица любила своих молодых слушателей, часто посещала их и забавляла своими рассказами; молодежь, в свою очередь, любила старую торговку и с удовольствием слушала ее рассказы.

– Ну, так какие ж дела в старину бывали? – спросил безусый студент, когда все разместились вокруг старушки.



**ЯКОВ
АБРАМОВ**

Неизвестная классика





– Да разные дела бывали... Мало ли чего не бывало!..

И снова остановилась, как бы желая показать, что она вовсе не намерена ничего рассказывать. Старость вообще любит поломаться.

– Будет тебе, Агафьюшка, церемониться! – воскликнула курсистка, любимица рассказчицы: – рассказывай скорей, а нето мы у тебя все семечки отберем, в виде штрафа...

– Ишь ты, востроносая! – засмеялась торговка и, положив свою старушечью, исхудалую, покрытую тысячами морщин руку на шею молодой девушки, начала рассказ.

– Был у нас мужичок один... Мы-то сами воронежские, валуйские, села Мелентьева, графов Паниных крестьяне... Ну, какое уж житье крестьянам под помещиками было? Одно слово, плохо было всем. А этот мужичок был так какой-то, Христос его знает отчего, неудачливый совсем. За что бы он ни брался, как ни старался поправиться, все у него выходил убыток. Ну, бился он, бился, все бедствует страсть как... Только сослал к нам из Питера граф своего повара: прогневался за что-то на него. Вот с этим-то поваром и познакомился наш Митряй, мужичка так звали. Познакомился он с ним и спрашивает про житье в Питере, как, что, почем там цены, ну и другое там, что любопытно знать. Известно, мужик дальше своей деревни не был, ему все в диковинку. Ну, а тот-то повар рад случаю поврать: дома, говорит, все из мрамора, а окна, говорит, золотом обиты. И пошел, и пошел врать. А Митряй стоит, глаза выпучил, не надивуется. Только раз Митряй и спросил повара: «А почем, говорит, в Питере яйца?» «Двадцать копеек десяток», – говорит повар... А тогда счет-то-деньгам еще на ассигнации был: двадцать-

то копеек – это, значит, как бы шесть копеек потеперешнему. Только Митряю эта цена показалась страсть какая дорогая: у нас о ту пору яйца-то две копейки десяток стоили, на ассигнации – две копейки, меньше, значит, копейка по-нынешнему. Услыхал Митряй, что в Питере-то двадцать копеек яйца, – сейчас ему и бросилось в голову: свезу-ка я туда вот яиц – вот разживусь-то! А того не расчел, что в торговом деле нужен ум, да ум. В торговом деле чуть не доглядел, ну и убыток. Вот хоть бы к примеру взять рыбу: купила я раз на сорок рублей лососины, на двадцать продала, а остальное выкинула, потому не доглядела, а она сдушилась. А то вот другой раз купила я раков...

– Ну, будет тебе про рыбу, да про раков, перебил рассказчицу будущий доктор: – продолжай-ка лучше про своего Митряя.

– Ну, так вздумал это Митряй везть в Питер яйца и стал ходить по дворам скупать их. Накупил это он целый воз, уложил хорошенько, пересыпал отрубями, чтобы не разбились, покрыл воз полстями и поехал. А тогда еще чугунок не было, ехать от нас до Питера нужно было месяца полтора, а то и больше. Ну вот, проехал он неделю, проехал другую, третью, а все еще ехать далеко. Только слышит он раз: что-то пищит у него за спиною. Что такое? – думает. Поглядел-поглядел кругом – ничего не видно. Пошел он опять около воза, да, знай, барыши высчитывает: сколько он денег выручит, да как ими распорядится. А сзади у него опять что-то пищит, да все сильнее. Подошел он к возу, отвернул полсть, глядь – а там полон воз цыплят: яйца-то нагрелись в отрубях да и вылупились. Поднялся тут писк, а Митряй об землю, да как заревет! Вот тебе и барыши!.. Погоревал-погоревал мужик, да



подъехал к круче – и вывалил воз. Так ни с чем и приехал домой...

– Зачем же он вывалил в кручу? – спросила курсистка.

– А что ж бы ему с ними делать, моя кралечка?

– А продать?

– Да кому ж они, такие маленькие-то нужны?..

– Однако, в старину народ-то глупый был, не сообразил, что яйца нагреются, с апломбом заметил естественник.

– Что и говорить: теперь народ куда умнее; только как будто щедушный немного стал...

– Как, щедушный?

– Да так: разве в старину были такие-то крючки, как вы? Отродясь таких скрюченных не видала...

– Браво, Агафьюшка! – рассмеялись все: – ты еще и остришь!

– Что ж, не шутя говорю: прежде народ был куда закомалистый...

– Как это закомалистый?

– Да так. Возьмем вот хоть нашего брата, женщин из простого звания: прежде разве такие были? Уж не говорю на счет работы; а возьмем хоть на счет драки. Теперь бабы поссорятся – только от них и толку, что переругаются, на чем свет стоит, а чтобы руки пустить в ход – это они не могут, потому нежны...

– А прежде как же было?

– Прежде-то?.. А вот послушайте, я вам расскажу, как у нас в старину бабы ссорились. Было у нас два двора на самом краю деревни, и была между ними маленькая лужайка. И вот на эту-то лужайку ходили с обоих дворов куры, гуси, утки и прочая живность. Ну, как тут не быть ссоре между бабами? То одна утенка не досчитается и кажется ей, что соседка к



себе загнала; то другая посыпит зерна своей птице, а чужую палкой бьет, отгоняет. Так постоянно бабы и ссорились; бывало, целый день над лужайкой стон-стоном от ругни стоит: это, значит, бабы со своих дворов перекликаются. Только ссорились они, ссорились, да раз и уцепились: вышли как-то вместе на лужайку, уцепили дружка дружку за волосы, да и давай таскать. Долго ли, нет, они так воловодились, только одна была посильнее – свалила свою недругу и давай ее колошматить. Отколошматимши порядком, вскочила да и побежала к себе. А та-то, что была на низу, поднялась, оправилась, да за нею. Вот только та, что посильнее, уж в избу свою пошла, уж через сенечки перешла, как другая хватить ее за косу. Обернулась она да и сама цап ту тоже за косу. Повалились обе: головы-то и руки в волосах лежат в сеничках, а туловищи-то за порогами: хозяйкино – в избе, а соседкино – на дворе. Лежат так и как будто окаменели, руки-то запустили в косы. А время было рабочее: все домашние ихние на ту пору были в поле. Дома-то осталась у каждой только по девочке, так, погодки были лет по четырнадцати. Так эти девочки схватили – одна рогач, а другая – кочергу, да и давай чужих матерей бить: хозяйкина девочка бьет соседку, а соседкина – хозяйку. И так они их били, что у баб живого места не осталось. И не без греха бы тут было, да уж мужики с поля прибежали; чудно им стало, что крику над дворами не стало слышно: как раз, думали, смертоубийство случилось. Так что же вы думаете? Насилу пятеро мужиков растащили баб: так они осатанели... Все посмеялись.

– А что, Агафьюшка, когда было лучше жить, теперь или в старину?

– Под помещиками-то?

– Ну-да!..



– Разве тогда жисть была?..

– А то как же?

– О, да не дай же Боже никому такой муки испытать... Теперь что! Теперь я чисто как в раю: и хлебушка в волю поем, и самоварчиком побалуясь. А тогда мы и понятия на счет самоваров и чаев не имели, да и хлеба-то съесть, сколько хочется, не всегда приводилось... Теперь я подати заплачу, да и вольный казак; все, что заработаю, на меня да на семью идет. А тогда – подати-то на дворе лежат, да еще барину полсотни, где хочешь, возьми. А еще барщина? И не приведи Господи, сколько мы натерпелись на ней! Барин-то наш в вотчине не жил: все либо в Питере, либо за границей. А делами всеми управлял немец. И как он нас мучил! Жадный был, из всего старался пользу получать. Бывало, где трава на целине плохо растет, так что косить нельзя, так он руками заставлял щипать. Велит согнать детишек лет восьми-десяти, да и заставляет их рвать траву. Ну, известно, трава режется, все руки, бывало, изрежешь, кровь течет – расплачутся детишки. А немец ходит сзади, да как заметит, кто плачет, так того плетью и урежет. А потом станут подростать детишки, заставляют их стричь овец. А овцы-то у нас были не то, что тутошняя дрянь: бывало, возьмешь барана за передние ножки, он как встанет на задние, так выше большого человека. А рога большие да крученные.

– Мериносы, должно быть, заметил один из слушателей.

– Шпанка, по-нашему, значит; а уж как по-вашему, по-ученому, не знаю... Ну, так вот заставлял, бывало, немец подростков стричь овец. А шерсть-то у них хорошая, гладкая, вся вьюнчиками пошла. Вот и нужно, бывало, снять ее всю цели-

ком – руном это называется. Бывало, стараешься, стараешься, ан овца брыкнет да и порвет руно; уж колотит-колотит тогда немец плетью! Да ведь как бил: рубашки-то на нас были не то, что из ситцу, какой вы носите, а прямо из дерюги, чуть не в большой палец толщиной; так, бывало, треснет плетью, так рубаху и просекет.

Старушка остановилась и задумалась. Лицо ее как-то съежилось, вся она пригнулась, скомкалась, уменьшилась. Видно, тяжелые воспоминания совсем сдавили ее.

– И взрослых бил немец? – спросила курсистка.

– Да еще как бил! Взрослым-то еще больше доставалось, плетью сам вздует да еще на конюшне высечет...

– А на конюшне кто же сек, сам?

– Нет, не сам. Заставлял мужиков друг дружку сечь...

– А они бы отказывались, не секли?

– Ишь ты! Откажешься, так самого положат. Вот я вам расскажу, что было с моим отцом. Провинился чем-то перед немцем мой дядя, отцов брат, немец и повел его на конюшню. А на ту пору случился на барском дворе мой отец, немец и велел ему сечь дядю. Ну, известно, отцу жалко брата: он ударит да не столько по нем, сколько через него перепускает. Заметил это немец, как схватит лопатку – сбоку стояла – да как стал гвоздить отца лопатой по голове, по лицу, по плечам... Уж он его гвоздил-гвоздил – живого места не оставил; пришел отец домой, страшно посмотреть на него: все лицо в рубцах, на голове кровавые шишки, плечи и грудь опухли, везде запеклась кровь... Так вот как! А ты говоришь – отказываться!

– Ну, а пожаловаться на него?



– А кому жаловаться? Начальство он все подкупил, а барин далеко... Было так: терпели-терпели мужики, да и решились пожалиться барину. Ну, послать ходока нельзя, потому немец сейчас узнает, что человека нет, переймет на дороге через полицию. Порешили послать барину письмо и в нем все описать. А грамотеи тогда редки были: у нас на всю вотчину чуть ли не один мой свекор-батюшка писать умел. Вот и стали собираться у нас старики письмо сочинять, а свекор писал. Долго они сочиняли. Соберутся, бывало, в полночь старики, бороды седые, головы седые – помолятся сперва Богу, усядутся за стол и начинают: один вспомнит одну обиду, другой – другую, а свекор все пишет, все пишет. И написали они страсть какое большое письмо! И все в нем описали: как бьет немец, как мучает на работе, как обирает деньгами, как крадет барское добро, ну все, как было. Написали, а потом стали думать, как его отправить. Если через нашу губернию его отправить, думали, так немец его переймет. Вот и послали человека в Харьковскую губернию, чтобы оттуда отправить. Послали и ждут. Прошло этак с полгода: получает немец выговор от барина. Рассвирепел тут немец: послал за свекром, сейчас его на конюшню и давай сечь! Уж он его сек-сек: думали живого не оставит. Как пустил он свекра, так тот пятнадцать верст.. (жили-то мы не в Мелентьеве, а на хуторе) без штанов, как маленький мальчишка, бежал... Вот каково было жалиться барину!..

Агафьюшка замолчала. Молчали и слушатели. Через несколько минут она снова начала:

– Ну, вот после этого стали старики собираться по задворьям да толковать между собою: неправильно, дескать, барин владеет нами. Барыня наша,

говорят, умерла, а барин не родной ей племянник, с какой стати он нами владеет? Давайте, говорят, собирать денег да искать такого человека, чтоб все эти дела доподлинно знал и нас из неволи вызволил. Потому, какой же это нам барин? Неправильно он нами владеет! Ну, стали собирать деньги – собрали полторы тысячи рублей. Выбрали ходоков: свекрова брата да еще одного мужика – двадцать годов старостой ходил, значит, должен все эти дела знать доподлинно. Это мужики-то так думали, а он ничего как есть не знал, как и все. Разве так можно, чтоб барин неправильно держал сорок пять тысяч десятин земли да семь тысяч одних душ? Разве это все равно, что корову держать? И никто об этом не знает?.. Одно слово, дурни были, ничего не понимали – вот и галдели. Свекор-то мой и говорит брату: «Не воли это ты, Афоня, ищешь, а острога». А старики на свекра напустились: «И такой, и сякой ты! Ты воли, значит, не хочешь!» Страсть, бывало, как ругали его!

Досталось и мне с мужем... Ну, отправились наши ходоки в Воронеж. Пришли – и не знают, куда идти, что делать. Вышли на базар, походили-походили – подошли к одной лавке. Купец и спрашивает их: – Что вам угодно? – Да вот, – говорят, – господин купец, что вы нам посоветуете? – Вошли в лавку и рассказывают: Так и так, барыня наша умерла, барин ей не родной племянник, неправильно нами владеет; ищем мы такого человека, кто бы эти дела понимал и нас из неволи вызволил... Позвал тут купец своих соседей, купцов, велел сызнова все рассказывать. А потом и говорит: «Острога вы ищите, господа старички, а не воли». – Обиделись наши ходоки, думают: врут, либо ничего не знают. Пошли дальше. Вот навстречу им идет барин, такой важ-



ненький, аккуратненький, толстенный, с ясными пуговицами, А у нас, бывало, всякого с ясными пуговицами за самое важное начальство принимают и почет ему от всех не то, что теперь. Теперь иди хоть полковник, хоть располковник, никто ему и шапки не снимет; а прежде все встречные, как стебельки от ветра, гнутся. Теперь даже батюшка идет, на него никакого внимания не обращают; а матушку так редкий и в лицо знает. А прежде батюшка час целый через улицу переходит, потому со всех сторон к нему под благословение сбегались. А матушке, бывало, стоит только по селу пройти, как к ней бабы так и тащут кур, яиц, воблу... Ну так вот, увидели наши ходоки барина, сейчас шапочку долой, низенько поклонились. А барин добрый: «Здравствуйте, – говорит, – господа мужички». – «Здравствуй, ваше благородие!» – говорят они. – «Зачем таким пожаловали?» – спрашивает барин. Они ему опять то же, что купцам рассказывали. «Ну, так я, – говорит барин, – такой человек, какого вам нужно. Все это дело я понимаю и все могу вам сделать».

Обрадовались мужики, кланяются: «Сделай, – говорят, – милость!» – «Ладно, – говорит, – пойдем, я вам наше дело покажу...» Повел он их в большущий трехэтажный дом, на самый верх, по лестнице. Растворил там какую-то архиву, вынул разные бумаги и стал читать. Ну, известно: что наши мужики понимают? Знай, головой мотают, да поддакивают...

Почитал барин, почитал, да и говорит: «Видите, наше дело правое, и в моей власти повернуть его как следует». Ну, мужики опять кланяются: «Не оставь, – говорят, – ваша милость!» – «А деньги у вас есть?» – спрашивает барин. – «Есть», – говорят...

– А видно он дело-то хорошо понимал, коли деньги прежде всего потребовал, засмеялись слушатели.

– Да, видно деньгам счет знал, улыбнулась и Агафьюшка. – Ну, достали ходоки деньги, отдали барину. Пересчитал он и говорит: «Этого на ваше дело мало; идите и еще соберите. Когда принесете, я ваше дело в ход пущу». Вернулись ходоки в Мелентьево, рассказали всем про барина. И все обрадовались, что нашелся добрый барин, сейчас же за ихнее дело взялся. Стали опять собирать деньги, чтоб доброго барина убоготворить. А свекор мой опять стал говорить брату: «Не воли ты ищешь, а острога». Начали опять все ругать и свекра, и меня с мужем, и всех наших домашних. Как раз в это время были в поле работы: нас не приняли в артель, не хотят вместе с нами кашу варить. Девочек наших и ребят в хоромы не пускают, с улицы гонят... Чистая беда!.. Ну, собрали опять денег семьсот рублей и послали опять старых ходоков. Пришли в Воронеж, идут по улице, а навстречу им опять тот же барин, как будто чуял, когда они придут. – «Здравствуйте, мужички!» – «Здравствуйте, ваше благородие!» – «Принесли деньги?» – «Принесли». – «Ну, давайте!» Достали ходоки деньги, а барин вырвал их у них и давай считать. Мужички за барином... Раз, два, три, четыре, пять... десять... пятьдесят... Насчитал пятьдесят да и в карман. «Как пятьдесят? – говорят ходоки: – Там семьсот рублей. – «Как семьсот рублей?»! – закричал на них барин. – «Вы меня надуть?! Я вас, ракалии»!.. Испужались мужики, сняли шапки, знай кланяются. Смилостивился барин: «Ну, то-то, смотрите ж, не врать! А то я вас в бараний рог скручу!.. Ну, теперь идите за мной»... Повел их опять к большущему трехэтажному дому. Свекрова-то брата поставил внизу около двери да еще велел ему держать дверь, чтоб была открытая, а того-то ходока, что двадцать лет в старостах ходил, повел вверх



по лестнице. Вот свекровь брат стоит да и думает, что ж это такое будет? Зачем это барин велел ему двери держать? А сам все смотрит вверх, на барина да на старосту. Видит: все они поднимались, да поднимались вверх, а как взошли на самый верхний приступочек, барин как повернет старосту к себе задом, да как чепонет его ногой в энто место, так староста кувырком по лестнице и покатился, да в растворенную дверь и выскочил на улицу. Тут только дядя Афанасий и понял, зачем ему барин велел держать дверь растворенною. А староста как поднялся с земли, да как пустится бежать! А свёкровь брат за ним. Поднялся тут шум, крик, свистки свистят, трещетки трещат, народ бежит ловить наших ходочков: думали, что воры, аль душегубы бегут. Поймали их, голубчиков, да в полицию. Тут им допрос; они во всем и повинились. Из Воронежа их перевели в Валуйки в острог. Начали производить следствие. Понаехало к нам начальства видимо-невидимо. Стали допрашивать: Кто подбивал? Кто первый зачинщик был? Стали тягать стариков да сажать в острог. Поднялся по селу вой: бабы голосят, дети плачут. А чиновники ходят да грабят, что им приглянется. Чисто французское разорение! Стал ездить свекор к брату в Валуйки; придет в острог да и говорит: – «Говорил я тебе, братец, не воли ты ищешь, а острога. – Так и вышло». – А свёкровь брат заплачет да и говорит: – Правда твоя, братец; дурак я был, что не слушал тебя. Долго так-то держали их в остроге. Только свекрова-то брата освободили, потому он во всем повинился и обещался больше этими глупостями не заниматься. А тот-то, что в старостах-то двадцать лет ходил, тот все на своем стоял:



неправильно, говорит, барин владеет нами; наша барыня умерла, барин ей не родной племянник – какой же он нам барин? Ну, его за это и оставили в остроге; так он там и сгнил... Так вот как было в старину волю искать!

Рассказчица замолчала и задумалась. Задумались и слушатели. Мысли всех невольно направились к тому времени, когда мелентьевцы наряду со всеми крепостными получили, наконец, волю. У некоторых слушателей уже вертелись на языке вопросы относительно этого времени, как Агафьюшка начала сама:

– А как начали ходить слухи про настоящую волю, то-то мы радовались! Бывало, гонят нас на барщину или там, где соберется народ, только и разговоров, что про волю. А немцу об этом передадут, он – пороть; да так порол, как никогда: напоследок, значит, хотел память оставить. Озлился народ на него и не приведи Господи как! Так и ждали, что кто-нибудь его на нож подымет. Ну, только все обошлось, благодаря Богу, без греха. А как объявили нам волю, вот был-то душевный праздник! Все плакали. Самые кряжистые старики – и те ревут, как бабы. Детенки маленькие – и те словно поняли, что за праздник был: бегают, прыгают, играют так весело, как никогда. Одно слово, настоящий крестьянский был праздник и больше такого уж не было... Немец-то наш ходил тогда, как водой облитый: не по вкусу ему пришелся наш праздник. Ну, да мы все тогда простили ему, потому добрые стали; только подсмеивались над ним. А он, проклятый, опять подвел нас: отвел что ни на есть негодную землю, и пришлось нам распоздаться по новым местам, кто ушел на «са-



мару», кто в степи кубанские, кто куда. Сколько пришлось натерпеться и голода, и холода, и лихорадок, и всякого горя! Не раз и старинку добром вспоминали...

– Ага, Агафьюшка! А давеча ты говорила, что в старину жизнь куда была хуже?

– А ты думал, нет? Теперь-то мы хоть и горе терпели да для себя: терпели, терпели, да все ж выбились кой-как – жить стали. А прежде терпели-то без конца, выбиться нельзя было... Вот она, голубчики, какая разница!

Иван босый

I

До того времени, когда с Иваном случилась притча, он ничем не выделялся из ряда самых заурядных мужиков. Об этом периоде жизни Ивана приходится сказать очень немногое. Он был женат и имел одного сына, парня на возраст; больше детей не было. Работал Иван много, и даже очень много, совершенно так же, как и все его соседи. Особенной склонности к трезвости в нем не замечалось, но и пьян он бывал не более одного раза в неделю, и в этом отношении он ничем не отличался от большинства своих односельцев. Жил он ни бедно, ни богато, а так, что называется, перебиваясь с хлеба на квас. Распоясову он, подобно своим соседям и друзьям, был должен, и притом много должен, и в уплату долга поставлял оброк всякими продуктами своего труда: и зерном всякого рода, и овцами, и шерстью овечьей, и щетиной, и салом свиным, и, наконец, самим трудом. Особенно больших недоимок Иван за собою не накапливал, так

же, как не накапливали и другие александровцы: село Александровское сравнительно зажиточное и в каждом дворе всегда находится что-нибудь такое, что волостной старшина может продать для пополнения недоимок. К храму Божьему Иван относился с должным уважением и пастыря чтил. Одним словом, Иван был вполне образцовым мужиком, и все те лица, на обязанности которых лежало блюсти за спокойствием села Александровского, были вполне довольны им. Если бы в это время кто-нибудь вздумал поинтересоваться Иваном и обратился с расспросами о нем к александровским властям, – духовным, светским и экономическим, – то все эти власти аттестовали бы Ивана, как человека вполне благонадежного. А именно духовная власть заявила бы следующее:

– Что ж, Иван – вполне христианин: своему духовному отцу ни в чем не отказывает.

А Распоясов, как представитель экономической власти, определил бы Ивана, со своей точки зрения, так:

– В долги-то он залез дюже, – ну только и овцу «приставляет» в полном комплекте...

Наконец, светская власть (волостной старшина) отрекомендовала бы Ивана, как кроткогоплательщика:

– Мужик без нахрапу: к нему без кола можно идти «грабить» корову...

И вдруг с этим, благонадежным во всех отношениях, человеком случилась «притча».

История этого превращения «мирного селянина» в столь неприятного для общественного спокойствия человека довольно темна и, вероятно, будет вполне разъяснена еще очень нескоро. Известен, однако, случай, послуживший началом происшедшей



с Иваном «притчи». Случай этот состоял в кровавой расправе александровцев с одним шалапутом.

Шалапуты появились в Александровском лет десять тому назад. Сначала, когда их было всего несколько человек, местное население относилось к ним равнодушно и отчасти даже презрительно. Там, где жизнь ставила на первый план физическую силу, должны были казаться странными люди, неумеренно предававшиеся посту и воздержанию; среди здоровых, краснощеких лиц бледные и худые физиономии шалапутов казались очень смешными. Но мало-помалу такое презрительное отношение православных к шалапутам исчезло. С одной стороны увлечение шалапутов аскетической стороною своего учения ослабело, а с другой – успех проповеди первых последователей шалапутства чрезвычайно усилился: членами шалапутской общины сделались несколько десятков семей, и они стали составлять видную силу в селе. Мало-помалу отношения между православными и шалапутами сделались очень натянутыми. Такая натянутость обуславливалась очень многими причинами. Прежде всего, шалапуты были новаторами, и притом новаторами радикальными. Они ломали весь строй деревенской жизни, не оставляли камня на камне. Правда, если покопаться хорошенько в «народной душе», то в глубине ее можно найти те самые начала, на которых основывалась и строилась система шалапутского ученья: шалапуты только сбрасывали мусор, который от времени накопился на этих основных началах, и придавали им дальнейшее развитие. Но александровцам копать в «народной душе» не было ни времени, ни охоты, и они не видели никакого родства между началами «народной души» и учением шалапутов. Напротив, оно казалось александровцам чем-то необы-



валым, диким, странным. Многим это учение было невыгодно, затрагивая непосредственно их интересы. Это были, во-первых, люди, которые так или иначе жили эксплуатацией ближних, и которых шалапутское движение грозило лишить возможности эксплуатировать кого бы то ни было; и, во вторых, те, у которых, благодаря уходу в шалапутство одного члена семьи, последняя разрушалась. Другие относились враждебно к прозелитам нового учения просто из боязни, которую питают слабые умы вообще ко всему новому, непривычному для них. Третьи ненавидели сектантов, принимая на веру те обвинения в безнравственности, которые сознательно и бессознательно наводили на шалапутов первые две категории их врагов и александровское духовенство. В конце концов вышло так, что пять лет тому назад все Александровское разделилось на две неравные, крайне враждебно настроенные друг к другу части: меньшую составляли шалапуты, а большую – православные. Только несколько человек, оставаясь православными, не чувствовали никакой вражды к шалапутам и со многими из них были даже в приятельских отношениях. Усилиями этих немногих вражда между шалапутами и православными долго сдерживалась, но, наконец, прорвалась и проявилась в целом ряде столкновений.

Дело началось с пьяных. Несколько «православных мужичков», раздавивших приличное число косушек в кабаке, вышли за село, на выгон, и расположились около «ветряка». Как на грех, в это самое время мимо веселой компании проходил молодой парень – шалапут.

– Эй, ты, кадушечник! – крикнули мужики: – иди-ка сюда!

Ничего не подозревая, шалапут подошел к звавшим.



Один из компании поднялся и ударил шалапуту по лицу.

– За что ж ты дерешься? – успел только выговорить шалапут, как на него набросились остальные члены компании, сбили с ног и начали бить по чем попало, приговаривая:

– За что бьешься? А за то, что к вам черт из кадучки лазит...

– А вы чего хордыбачетесь? Что вам черт деньги дает, так вы и рады...

– А, так вы наших баб портить!..

– Бей его, ребята! Он святой, а нас чертями называет!..

Судя по ожесточению нападавших, битье шалапуты продолжалось бы довольно долго, если бы одному из бивших не пришла в голову такого рода мысль:

– Давай, ребята, заставим его креститься!

– Идет! Повернем его в нашу веру, – подхватили остальные.

Битье прекратилось. Избитого подняли и посадили, держа его за ноги и плечи, чтоб не убежал. Затем началось «поворачивание в нашу веру».

– Крестись, собачий сын, а то тут тебе ж смерть! – кричал один из этих оригинальных миссионеров.

– Сложи ему, ребята, крест да и стукни в лоб-то, предлагал другой.

Шалапуту насильно сложили пальцы правой руки так, как они складываются для крестного знамения, и затем стали тыкать этим «крестом» в лоб, в плечи и живот. При этом, все хохотали.

– Ишь как ему не хочется в нашей вере быть!

– Ничего, помаленьку «оборкатся»¹.

¹ Привыкает.



Шалапута толкали, щипали, дергали за уши, за виски, – он все терпел молча, ни одним звуком не выдавая своих страданий. Его бледная фигура с крепко стиснутыми губами и горящим взором резко выделялась из среды его пьяных преследователей с покрасневшими, обрюзглыми лицами. Избитый, окровавленный, в изорванной одежде, он тем не менее имел вид величия, и, наверное, произвел бы сильное впечатление на своих мучителей, если бы они не были так пьяны.

После многих издевательств одному из мужиков пришла в голову новая мысль.

– Потащим его к батюшке: пусть он ему наставление сделает.

И несчастного поволокли в село. Шествие это имело необычайный для села Александровского вид. Впереди шли два мужика и тащили за уши шалапуту, оба они плохо стояли на ногах, шатались и при этом тянули уши несчастного в разные стороны. За ними шли все остальные и время от времени поддавками подгоняли пленника. Все александровцы, бывшие в это время на улице, подходили к этой странной процессии и, узнав, что она направляется к батюшке, присоединялись к ней.

Впечатление, производимое этой сценой на присутствующих, было довольно разнообразно. Одни сочувствовали компании, мучившей шалапуту, и всячески издевались над последним. Другим, напротив, вся эта история очень не понравилась, и они уговаривали пьяную компанию отпустить избитого.

В числе последних был и Иван. Он был в числе немногих, которые не чувствовали никакой вражды к шалапутам, но и нисколько не интересовались вопросом о том, правильно или неправильно поступают враждующие против сектантов. До того



момента, когда он увидел упомянутую процессию, для него было совершенно безразлично, существуют ли шалапуты или нет. Но зато теперь тем более сильное впечатление произвел на него вид окровавленного парня, которого к тому же тащили за уши.

По природе своей Иван был довольно мягкий человек. В драках он никогда не участвовал, жену и сына бил всего раза по два в год, и то слегка. Даже животных – лошадей и быков – он бил очень редко, в минуты сильного гнева, припадки которого с ним случались редко. В теории, однако, он допускал побои, но требовал, чтобы они наносились только тогда, когда для этого есть серьезные основания. Вообще воззрения его по этому вопросу формулировались в словах «учить палкой можно».

И вдруг перед его глазами разыгрывалась самая возмутительная расправа, не вызванная при этом решительно ничем. Разбитых морд и проломанных голов он насмотрелся вволю, и одною окровавленную мордю больше – для него не могло казаться особенно важным делом. Но все прежние случаи для него были понятны и объяснимы: дело происходило обыкновенно в драке, и разбитые морды оказывались у сторон. Но здесь имела место не драка, а какое-то разбойное нападение целой шайки на одного, нападение к тому же производимое без всяких поводов и оснований.

В те две-три минуты, в течение которых Иван оставался пассивным свидетелем происходившей перед ним сцены, он никак не мог сообразить, за что, собственно, молодой шалапут подвергается таким издевательствам. Догматических тонкостей, разделявших шалапутов и православных, он не понимал, а в житейско-нравственном отношении

он отдавал все преимущества шалапутам пред православными: шалапуты все были трезвы, а Иван высоко ставил это качество в человеке, они были очень трудолюбивы, – Ивану, как человеку тоже очень трудолюбивому, было приятно чувствовать себя солидарным с ними в этом отношении; наконец, шалапуты были очень дружны между собою, помогали друг другу и, главное, не кулачили, хотя имели полную к тому возможность. Ивану, в виде контраста, вспомнились Распоясов и компания.

Все эти соображения промелькнули в голове Ивана в течение нескольких минут. Еще минута, – и он был уже около молодого шалапуты, отпихивал от него мужиков и кричал на них:

– Что вы, ошалели, что-ли? За что вы мучите человека?

Мужики сначала растерялись от неожиданного нападения.

– Да ты что, ихний, что-ли? – только и нашлись они сказать.

– Не ихний я, сами знаете; а только грех вам над человеком так тиранствовать...

И Иван хотел было вывести парня из толпы. Но мужики оправились от своего смущения и вырвали шалапуту из рук Ивана, крича:

– Не трожь!.. Чего ты лезешь?.. Мы к батюшке: он рассудит, он наставление ему даст..

Иван был оттеснен толпою, которая плотно окружала шалапуту, и последнего снова потащили в хвост толпы.

Пришли к поповскому дому, вызвали батюшку, о. Иоанна. Батюшка предавался послеобеденному сну и был очень недоволен тем, что его разбудили. Узнав, в чем дело, он почувствовал себя в крайнем затруднении.



– Да чего ж вам от меня-то хочется? – переспросил он толпу.

– Креститься он не хочет... Ты, значит, пастырь... блюсти должен... наставь его...

Батюшка переминался с ноги на ногу. Наконец, чтоб затянуть время, он спросил:

– Да чей он?

– А Петровых, что на Астраханке живут...

Батюшку осенила гениальная мысль.

– Так он – не моего прихода. Чего же вы ко мне лезете? Ступайте к о. Стефану, а мне с вами и толковать нечего...

И батюшка хлопнул дверью и скрылся. Толпа повалила к о. Стефану. Этот последний оказался сообразительнее своего товарища.

– Вот что, ребята, обратился он к мужикам, выслушав обвинения против шалапуты и желания толпы: – теперь мне возиться с ним некогда, а вы вот заприте-ка его ко мне в амбар, а я его вечером испытаю...

Толпе понравилось предложение священника: шалапут немедленно был заперт в амбар, и затем все мало-помалу разошлись. Остался только один Иван и имел удовольствие видеть, как о. Стефан, по уходу толпы, собственноручно выпустил шалапуту.

Вот этот-то эпизод и послужил началом того перелома, который привел Ивана к отрицанию. Он начал задумываться над вопросами из такой сферы, которая до сих пор совсем не привлекала к себе его внимания. До сих пор его мозг работал исключительно над вопросами чисто хозяйственного характера: он думал о посеве, о покосе, об уборке хлеба, размышлял о том, как сделать все это, по возможности, лучше, скорее и спорее; старательно



соображал, как распределить собранные им продукты хозяйства, чтобы их хватило на целый год, до «нови»; всячески ухитрялся «приставлять» Распоясову поменьше овец, хлеба и проч. Но никогда еще он не задумывался над взаимными отношениями людей друг к другу. Деревенская жизнь представляет очень много фактов и в этой области, могущих навести на размышление; но для этого нужно быть человеком посторонним деревне; нужно, чтобы эти факты были для человека чем-то новым, странным, одним словом – интересным, заслуживающим размышления. Иван же вырос в деревне, привык ко всем самым диким, самым возмутительным фактам деревенской жизни, привык относиться к ним как к чему-то естественному, неизбежному. Наконец, эти факты просто объяснялись условиями деревенской жизни, вытекали из них. Нужно было явиться необычному, невиданному еще Иваном факту, чтобы он, пораженный этим фактом, задумался над людскими отношениями. А раз его мысль стала работать в этом направлении, материал для этой работы доставлялся деревенскою жизнью в ужасающем изобилии.

Вскоре после эпизода с шалапутом, ум Ивана был страшно поражен фактом, подобные которому случались и прежде, но к которым он прежде относился почти равнодушно. Факт этот был – убийство, и притом из-за причин экономического характера. Дело было в следующем.

Два соседа, большие друзья, посеяли вместе десятину льна. Все шло хорошо, пока совершались предварительные работы. Но при уборке посева произошла ссора. Один из пайщиков замешкался при уборке других хлебов, а другой в это время скосил ту половину десятины, на которой лен уродился лучше. Когда первый пайщик явился убирать лен и



увидел, что ему осталась худшая половина, он предложил своему товарищу скосить оставшийся лен, а затем разделить пополам весь лен в копнах. Товарищ не согласился. Начали ругаться. От ругательств дело перешло к драке. Один компаньон оказался значительно сильнее другого, свалил его и начал душить. У лежавшего под низом был брат, который доселе держался в стороне и в ссоре участия не принимал; теперь же, видя, что сосед душит брата, он схватил «ваг», подбежал к борющимся и ударил соседа «вагом» по затылку. Удар был так удачен, что сосед тотчас же, обливаясь кровью, упал мертвым. Убийца в ту же минуту пришел в себя, бросился в село, явился в волостное правление и там со слезами и плачем рассказал, что он убил человека.

Иван присутствовал при вскрытии трупа убитого, рассматривал его проломленный череп, слушал горькие рыдания убийцы, – и все это произвело на него крайне сильное впечатление. Он с удивлением замечал в себе какое-то новое чувство, доселе не испытанное им. Это отнюдь не было чувство омерзения к убийце, не страх, который испытывают многие натуры при виде трупа, не простая жалость к убитому. Это было чувство, которому Иван не мог бы подобрать названия, чувство настолько сложное, что он не мог бы в нем разобраться, если бы и хотел. Тут была и жалость к убийце, и сожаление об убитом, и неясное, но, тем не менее, сильное чувство боязни, вызванное мыслью о том, что настоящее убийство отнюдь не последнее, что подобные катастрофы еще долго будут случаться в деревне, что они могут произойти каждый день, каждую минуту. Всего более поразил Ивана несчастный убийца, когда он, падая в ноги всем приходившим смотреть на него, говорил: «Делайте со мною, что



хотите, православные! Пропавший я человек; пропала моя головушка!..Руки-то мне свяжите, не то я прикончу с собой» ... Ивана тем более поражал этот мучительный крик убийцы, что последний всегда был тихим и смиренным парнем, и Иван никак не мог представить себе, каким образом он мог дойти до такого безумного остервенения, чтобы забыть все и убить человека.

С этого времени мысль Ивана начала усиленную работу над житейско-нравственными вопросами. Он пересмотрел всю нравственную область деревенской жизни и нашел в ней тысячи «непорядков». «Непорядки» эти оказались положительно всюду: и в семье, и на «миру», и в отношениях мирян друг к другу и к посторонним лицам, и в самой деревенской душе. В душе-то в особенности оказалось много «непорядков». Ивану на первых же порах его мыслительной работы понадобилось уяснить себе, более или менее точно определить самые основные нравственные понятия, – и вот тут-то оказалось, что ни в его душе, ни в душах его ближних не было материала для этого определения. Явился, например, у Ивана вопрос: как надо жить по правде? И – к кому он ни обращался с этим вопросом, никто не мог дать ему точного, определенного ответа. Все ответы получались вроде следующих:

– По правде-то?... Ишь-ты!... Так по правде?... А не выпить ли нам косушку?...

Или:

– А, должно, Иван, тебя мало пороли?..

Батюшка, к которому Иван тоже обращался за разъяснением, отвечал:

– Оставь, брат, ты эту фанаберию!..

Единственный человек, давший Ивану вполне определенный ответ на его вопрос, был мещанин,



маклавший по мелочи в Александровском. Когда Иван задал ему вопрос о жизни по правде, он предвзвительно переспросил:

– То-есть, как это – по правде? Честно, что-ли?

– Как будто так, вроде как бы, отвечал Иван.

– Ну, так, честно – это: когда берешь – не кричит, а режешь – не ревет...

Много таких вопросов возникало в голове Ивана и много ответов, подобных приведенному, получил он. Все эти ответы имели один и тот же характер: это было наглое издевательство над человеком, над его правами, над нравственностью. Это было с одной стороны; а с другой – этой наглости противопоставлялось какое-то мямленье, какие-то робкие, нерешительные звуки: «собча», «по-старине», звуки, лишенные всякого реального содержания, так как ничего «собча» и «по-старине» не делалось, а напротив, кругом разыгрывалась настоящая оргия индивидуализма и все шло «по-новому». В конце концов у Ивана составилось представление о мире, как об огромном пустом пространстве, в котором царят лишь грабеж и поругание сильного над слабым.

Когда Иван пришел к такому безотрадному выводу, он бросился в самое необузданное отрицание. Он отверг все жизненные обычаи и повел жизнь дикаря, отказался от своей семьи, фактически отделился от официального «общества», забыл про подати и отказался повиноваться светским и духовным властям. Он не знал, чем заменить существующее, но был глубоко убежден, что все существующее никуда не годно, и потому отвергал его. И это беспощадное отрицание и составляло его силу, благодаря которой он делал в Александровском все, что хотел, и которой побаивался даже сам господин становой.

II

Что с Иваном произошла «притча», это обнаружилось в церкви, во время произнесения о. Иоанном Любомудровым проповеди. Проповедь была написана на тему о бескорыстии, тему, которую очень любил развивать батюшка. На этот раз, однако, ему невольно пришлось сократить поток красноречия. Едва только проповедник успел выяснить предмет своей проповеди, как Иван закричал во все горло:

– Не слушайте его, православные! Ему хорошо толковать, когда у него в банке пятьдесят тысяч... Ишь он пузо-то какое нагулял! А посидел бы он на хлебе с мякиной!..

Все присутствующие растерялись и не знали, что делать. Прежде всех оправился становой и закричал сотским:

– Взять его!..

– Кого? Меня взять? – обернулся Иван к становому; – это тебя, подлеца, нужно взять...

Становой позеленел от злости: никогда еще не случалось с ним такого афронта.

– Взять его! Бить его! – кричал он сотским и уряднику.

Но не успели подчиненные станового привести в исполнение его приказание, как Иван, со словами: «А, так меня бить? Так вот же тебе!» – бросился на начальника и начал осыпать его ударами. Произошла безобразная сцена, окончившаяся тем, что на Ивана напали все близ стоявшие, одолели его и вытащили из церкви. Тщедушный становой очень пострадал во время свалки, но еще более пострадал Иван. Его, страшно избитого, бросили в «холодную», а через несколько дней отправили в губернский острог.



Началось дело. Самый факт насилия, совершенного Иваном, казался всем таким странным и диким (как по тому, что не был вызван ничем, так и по самой обстановке, при которой совершился), что с самого же начала дела у всех лиц, от которых теперь зависела судьба преступника, явилось сомнение в нормальном состоянии его психики. Сомнение это еще усилилось при ближайшем знакомстве с Иваном на допросах. Иван держал себя грубо, отвечал дерзко, позволял себе ни с того, ни с сего, выходки вроде следующей:

– Знаю я вас, обдирал, говорил он на первом же опросе следователю: – за деньги вы и в Сибирь человека сошлете, и совсем отравите... Только я вам и гроша не дам!

– Да с тебя никто не хочет ничего брать, успокаивал Ивана следователь.

– Толкуй там! Мы тоже кой-что видали... Все вы на один *солтын!*..

Когда Ивана спросили, за что он бил станового, он категорически заявил:

– А за то, что он – разбойник...

– Какой же он разбойник? Что же он такое сделал? – допытывался следователь.

– А вы разве не знаете, что он делает? – возразил Иван и пристально посмотрел на следователя.

Следователь несколько смутился: он действительно знал кое-что, рисовавшее станового не в хорошем виде. От Ивана не укрылось смущение следователя, и он презрительно заметил:

– А тоже расспрашивает, будто и в правду ничего не слыхал... Все вы друг за дружку стоите!..

– Вот, Иван, видишь ли, нужно твое показание в протокол занести...

– А на что мне ваши протокола?..

– Да, ведь, пойми, – тебе будет плохо, если не найдется смягчающих обстоятельств... Ведь ты на каторгу угодишь!..

– Эка испугал! Нашему брату везде каторга...

Пробовал следователь расспрашивать Ивана, зачем он вздумал расправляться со становым именно в церкви.

– Ну, положим, ты злился на станового, – начинал следователь.

Но Иван тотчас же перебивал его:

– Чего мне на него злиться? Если на всех вас злиться, так и злости не хватит..

– Ну, хорошо, хорошо!.. А зачем же ты, все-таки, в церкви стал бить станового, а не в другом месте?

– Ну, а что ж, что в церкви?

– Как что? Ведь церковь – святое место?

– Было святое.

– А теперь?

– А знаешь, кто у нас попом?

– Знаю; что же в нем особенного?

– Зачем особенный, – обыкновенный...

– Ну, и что же?

– И больше ничего...

Следователь начинал сердиться.

– Ну, а попу-то ты зачем помешал проповедь говорить? – спрашивал он уже раздраженным тоном.

Иван тоже сердился:

– И чего ты пристал ко мне, как банный лист..

Маленькое дите ты, что-ли, что тебе нужно все рассказывать? Отвяжись!..

Следователь горячился, убеждал, грозился... и добился, наконец, того, что Иван вышел из себя и заявил ему:

– Поколочу я и тебя, если не отстанешь: все равно разом за все в Сибирь пойду..



Возбудили вопрос об умственных способностях Ивана. Комиссия врачей освидетельствовала его и признала умалишенным. Из острога Ивана перевели в «желтый» дом, а через месяц он был отправлен на родину.

Последнее обстоятельство произошло потому, что за содержание Ивана в доме умалишенных некому было платить. Обыкновенно плательщиком в подобных случаях является сельское общество; но александровцы решительно отказались взвалить на свои плечи новый расход на том основании, что Иван для общества безвреден. Такое решение александровского общества, помимо экономических расчетов, обуславливалось также тем, что потерпевшее от Ивана лицо популярностью в населении отнюдь не пользовалось, и поступок Ивана если и не вполне одобрялся александровцами, то и в особое негодование их не приводил.

III

Возвратившись на родину, Иван повел крайне оригинальный образ жизни. Семью он бросил, заявив, что она может жить и без него, и отправился жить на гору, находившуюся недалеко от Александровского. Здесь он вырыл себе пещеру. Пещера эта состоит из двух комнат: передняя, побольше, служит для Ивана как бы приемной, где он принимает посетителей, а задняя, поменьше, служит собственно жилищем. Жилище это вполне напоминает логово дикаря: никаких удобств, никаких приспособлений в нем нет, не видно никакой мебели, никакой посуды, нет печи, нет окон. Свет проникает в пещеру только через дверь, и, когда она бывает заложена двумя досками, в пещере царит мрак. Спит Иван прямо на земляном полу. В одном углу пещеры он



положил два камня и на них разводит огонь; огонь служит ему не для варки пищи, а исключительно для согревания пещеры и для освещения ее в длинные зимние вечера.

Ходит он нечесанный, грязный, оборванный; ноги постоянно, зиму и лето, босые (потому-то он теперь и известен под именем Ивана Босого). Одежда, которую он носит, плохо прикрывает его тело, но он на это не обращает никакого внимания. На него не действует ни холод, ни жара, ни ветер, ни дождь, ни снег. Когда его спрашивают, неужели ему не холодно, он с какою-то странною улыбкою отвечает:

– Дуракам Бог помогает!..

Питается он чем и когда придется. Его охотно кормят, но он не от всякого соглашается брать пищу и многих филантропов, даже всячески ругает в ответ на доброжелательное предложение. В этом отношении он обнаруживает известного рода тенденцию: он охотно обедает у бедных александровцев, с неудовольствием принимает приглашение среднесостоятельных мужиков, а богачей осыпает ругательствами всякий раз, когда они решаются предложить ему денежное или съестное подаяние.

Какого-либо определенного занятия Иван на себя не взял. Он не отказывается поработать в каком-либо бедном дворе, если видит, что этому двору нужно помочь. Но никогда он не соглашается работать по найму, за деньги или за какие-нибудь вещи. Вообще же работает он мало, а большую часть времени тратит на «обличения», как выражается местный дьячек. Он бродит по Александровскому и соседним селам и придирается к разным лицам, кого он считает нужным поучить: кому притчу расскажет, кого обругает, а кого и просто поко-



лотит. Он любит, чтоб его считали «дурачком», и, пользуясь этим, безнаказанно совершает все, что ему хочется.

Одни, действительно, считают его помешанным. Другие зовут его «блаженненьким», придавая этому слову смысл «юродивого». Есть такие, которые (особенно бабы) считают его святым. Но есть, наконец, люди, (а таких среди александровцев не мало), которые вполне убеждены, что Иван только «дурака корчит», а что, в действительности, он очень умный и хитрый человек.

По понедельникам в Александровском бывает базар. Базар этот является базаром для всего уезда. В этот день на александровском выгоне собирается такая масса народу, какая редко бывает на самых больших ярмарках нашей губернии. Иван выходит на базар с псалтырем, становится где-нибудь в укромном месте и начинает читать. Вокруг него скоро собирается толпа слушателей; послушав некоторое время, они уходят, положив сколько-нибудь денег на псалтырь, а на их место приходят другие. Так продолжается до тех пор, пока Иван не прекращает чтения, и все это время он бывает окружен массою народа. Читает Иван почти без перерывов, с раннего утра до полудня, и за это время собирает довольно значительное количество денег. В полдень он прекращает чтение и начинает раздавать собранные деньги пришлым нищим, а также беднейшим александровцам. Себе он не оставляет ни копейки.

Неудивительно, что, ввиду подобных фактов, большинство александровцев любит Ивана и далеко не все считают его «блаженненьким» или «дурачком». А таких фактов бывает множество. Иван вообще очень изобретателен по этой части. Однаж-

ды, дня за два перед Рождеством, он явился к Распоясову и заявил ему:

– А я тебя хочу поджечь.

– Как поджечь?..

– Да так; придет вот весна – и подожду..

Распоясов испугался: он был уверен, что Иван в состоянии исполнить самые безумные угрозы.

– Да с чего ты это? Обидел я тебя, что-ли?

– Обидел не обидел, если выкупа не дашь, – подожду.

– Какой же тебе выкуп?

– Кабана...

– Какого кабана?

– Да что ты трех палил, так одного...

– Да на что тебе кабан?

– А это уж мое дело...

– Возьми лучше деньгами: трешницу дам...

– Говорю тебе: давай кабана... да давай скорей, а то уйду, тогда хоть проси, не проси, – не возьму..

Распоясов поежился, поежился и в конце концов согласился.

– Ну, так уж ты мне и лошадь с дрогами дай, – на базар кабана сvezть, попросил Иван.

– Что же это ты, – торговать хочешь?

– Торговать; хочу капитал наживать...

Привезши кабана, разрезанного на части, на базар, Иван «кликнул клич»:

– Эй! У кого свининки нет к празднику, – подходи, получай!..

И он раздал всего кабана беднякам.

Сунулись было за свининой двое десятских, но Иван набросился на них и чуть не избил палкой.

– Ах, вы ироды этикие, живодеры! – кричал он. – Туда же Лазаря поют, проклятые!..

Вот этикие-то факты и были причиною громадной популярности Ивана в Александровском.



Когда он долго не показывался на селе, многие приходили к нему в пещеру. Здесь он держал себя совсем иначе, чем в селе: не ломался, был серьезен, не ругался, любил разговаривать по душе и о душе. Посетителей у него бывало множество. Одни приходили к нему с горем, как к человеку святому, горящему общим горем и печалующемуся за всех. Другие спрашивали у него практических советов и указаний, доверяя его уму, и хотя его советы были всегда облечены в форму аллегории, спрашивавшие оставались довольны. Бабы приходили посмотреть на него, как на «блаженненького», которого даже «холод боится». Последнее они вывели из того, что Иван простаивал обедни возле церкви, стоя босиком по колено в снегу. Факт этот очень поражал баб, и они относились к Ивану с глубоким уважением, смешанным с благоговением.

Из всех своих посетителей Иван больше всех любил шалапутов. Сам он не был шалапутом, не бывал на их собраниях, не принимал участия в разных шалапутских учреждениях, как, например, в кассе, и вообще стоял в стороне от шалапутской общины. Но, тем не менее, отношения между ним и шалапутами были самыми превосходными. Для шалапутов он был всегда дорогим гостем и желанным собеседником; они любили его и заботились о нем, насколько это было возможно при его нежелании принимать чьи бы то ни было заботы. В свою очередь Иван любил шалапутов и стоял за них горой. При нем нельзя было дурного слова сказать о шалапутях: он набрасывался с палкой на хулителя и избивал его. Палка Ивана была хорошо известна всему Александровскому и часто пускалась в ход. Сам Иван очень дорожил своей палкой, которая, по его словам, была получена им от какой-то старушки,

а та принесла ее из Киева. Особенно много пострадал от этой замечательной палки один мужичонка, Илья Вавилов. Илья был прежде шалапут, но не мог вынести строгого образа жизни шалапутов – он страдал слабостью к вину – и снова перешел в православие. Священник воспользовался этим единственным случаем обращения шалапуты в православие и уговорил Илью продиктовать ему свою «исповедь», подробный рассказ о том, как он сделался шалапутом и что видел во время пребывания в шалапутстве. «Исповедь» эта была представлена как доказательство миссионерской деятельности и затем была напечатана в местных епархиальных ведомостях. Вся эта исповедь состояла из целого ряда доносов на александровских шалапутов и в особенности на их главу, родного брата Ильи, Василия Вавилова. Вот за этот-то донос Иван и не мог терпеть Илью; он просто не мог выносить его присутствия. Всякий раз, когда они встречались, Иван без пощады бил ренегата своей палкой до тех пор, пока тот не убегал. Бедный Илья был доведен этим битьем до такого напуганного состояния, что постоянно озирался и высматривал, нет ли где Ивана. Только в пьяном состоянии он имел смелость не избегать своего гонителя, так как в этих случаях Иван не трогал его, а обругавши хорошенько, сам уходил прочь.

IV

Бабы, посещавшие Ивана в пещере, приносили ему сюда иконы. Это был единственный путь, которым бабы могли выразить Ивану свое доброжелательство, так как он никаких иных подарков не принимал. Одни из этих икон презентовались Ивану как «свяченныя», т. е. принесенные из Киева, Моздо-



ка и других святых мест; другие хотя и покупались в местных лавках, но принимались Иваном как жертвуемые от «чистого сердца». Все эти иконы Иван ставил в передней половине своей пещеры, и так как каждая баба считала своей обязанностью пожертвовать Ивану хоть одну икону, а некоторые приносили по две и даже по три, то скоро ими были уставлены до самого верху две боковые стенки пещеры.

Узнал об иконах батюшка, – тотчас-же в его воображении нарисовался целый ряд ужасных картин. Представилось ему, что пещера Ивана служит чем-то вроде молельни для какой-то новой секты и что Иван отправляет в ней нечто в роде богослужения. Самое это предполагаемое богослужение рисовалось в виде какого-то бесшабашного разгула, дикой пляски, хлыстовского культа. Верил ли батюшка всему этому или он все это выдумал, чтобы был предлог придраться к Ивану и отомстить за его «обличения», только он всем выражал свое возмущение тем «поруганием, которому предаются «святые иконы» в пещере Ивана, и, наконец, обратился за «содействием» к становому. Становой еще не забыл старого и потому был рад насолить Ивану хоть чем-нибудь. Собравши толпу низших полицейских чинов – урядников, сотских и десятских, а также захвативши соответствующее количество понятых, становой двинулся к жилищу Ивана для производства обыска. Как-то случилось, что на селе узнали о намерении станового раньше, чем оно было приведено в исполнение, и так как в Александровском никогда никаких обысков не производилось, то александровцы вообразили Бог знает что. Сейчас же начали передавать из уст в уста рассказ о каком-то священнике, который уронил чашу со святыми дарами и которого за это «увезли» в темной каре-



те. Куда увезли – об этом не спрашивалось, так как и так было понятно, что не в хорошее место. Такая же участь предполагалась и для Ивана. Это было жутко, но вместе с тем и любопытно. И вот толпы александровцев потянулись по направлению к Ивановой пещере. Многих, конечно, кроме любопытства, влекла и жалость к Ивану: его очень жалели в толпе, и жалели искренно.

Когда становой со своей свитой явился к пещере и увидел, что она окружена массой народа, он несколько смутился. Но оказалось, что его воображение слишком поспешило, так как любопытные александровцы не только не оказали никакого сопротивления, но еще помогали выносить из пещеры иконы и потом несли их к селу.

Иконы были отнесены в церковь и здесь поставлены в алтарь. Таким исходом дела осталось очень довольно начальство. Не замечалось особого недовольства и среди александровцев, которые еще шутили по этому поводу: «Вот нам и лишний праздничек!» – говорили они. Оказался только один недовольный этой историей – Иван.

Он страшно злился и стал необыкновенно мрачен. На селе он почти не показывался и все время проводил в своей пещере. С посетителями он также стал неразговорчив. Очевидно, он задумывал что-то, какой-то план мести, и разрабатывал этот план в подробностях

Однажды, тотчас после обедни, при которой присутствовал и Иван, священник с дьячком отправились причащать какого-то больного. Сторожа, почему-то, в церкви не было. Этим случаем воспользовался Иван и пробрался в алтарь. Здесь он снял с престола евангелие и антиминос, а с жертвенника – дарохранительницу, лжицу, запасную чашу, крест и



много других вещей и все это сложил в полу своего бешмета. Из церкви ему удалось выйти тоже незамеченным, и кража была обнаружена только через час, когда вернулся священник. Поднялась тревога. Священник в отчаянии рвал на себе волосы. Дьячок и сторож бегали по селу и расспрашивали, не выдали ли кого-нибудь с церковными вещами. Церковных вещей не выдал никто, но зато видели, как Иван поспешно бежал с чем-то, завернутым в полу. Все тотчас же поняли, что это дело рук Ивана. Узнав, что он бежал по направлению к пещере, бросились туда. За селом, не доходя пещеры, был колодец, и здесь-то нашли часть похищенных предметов изломанными и изорванными. Другую часть нашли в самой пещере. Иван, конечно, был арестован и посажен в «холодную». Первым подверг его допросу становой.

– Как ты смел совершить такое страшное кощунство?

– А ты как смел забрать у меня иконы? – отвечал Иван. – Я сделал то же, что и ты: ты забрал у меня да отнес в церковь, а я забрал в церкви и принес к себе, – вот мы и квиты.

– Но, ведь, ты украл священные предметы?

– А мои иконы были грешные, что ли?

История выходила крупная. Священник боялся, чтобы его за нее не расстригли: он сознавал, что самая возможность кощунства обуславливалась его отношением к своему делу, и предугадывать, что архиерей непременно обратит свое внимание на то обстоятельство, что растворенная церковь могла оставаться без всякого присмотра. В результате таких соображений священника явилась конфиденциальная беседа со становым, после которой из акта, составленного по поводу кощунства Ива-

на, исчезло упоминание об антиминсе, евангелии, дарохранительнице и других более важных предметах и осталось только обвинение Ивана в краже трикирия, какого-то плата и креста, и притом не из алтаря, а с клироса.

Опять повезли Ивана в губернский острог и опять стали подвергать допросам. На все вопросы следственной власти Иван отвечал упорным молчанием и как ни бился с ним следователь, он не услышал от Ивана ни слова. Снова подвергли его медицинскому освидетельствованию, и снова он очутился в доме умалишенных. Опять пошла переписка: снова от александровского общества начальство требовало уплаты денег за содержание Ивана в «желтом» доме – и снова александровцы упорно отказывались от этой уплаты. Убеждал их становой, убеждал мировой посредник, – александровцы не поддавались и стояли на своем. Дело кончилось тем, что Иван снова был «водворен на жительство» в свое село.

V

С этого времени Иван стал необыкновенно смел и дерзок. Батюшку он просто теснит на каждом шагу, и тот все молча сносит. Не раз Иван прерывает его проповедь самыми язвительными замечаниями, – и о. Иоанн делает вид, что ничего не слышит, и продолжает проповедь как ни в чем не бывало. Много достается от Ивана также местным коммерсантам. Придет он к лавке Распоясова или кого другого и начинает:

– Эй ты, толстопузый, иди-ка сюда, будем с тобой разговор иметь...

«Толстопузый» знает по опыту, какой характер будет иметь этот разговор, и потому молчит и остается в лавке.



– Ну, что же ты не вылазишь из своей берлоги? – кричит между тем Иван. – Совесть что ли тебя зазрила, что ты на свет Божий боишься выглянуть?

На крик Ивана собираются любопытные. Иван обращается к ним.

– А что, ребята, на чем эти лавки выстроены?'

– На земле! – отвечает, кто-нибудь из толпы.

– Эк, хватил!.. На земле! Дурачье вы безмозглое!..

На ваших хребтах эти хоромы выстроены – вот на чем.

В толпе раздается гул подтверждения, – Распоясов этого не выносит и как ужаленный выскакивает из лавки.

– Так на ваших хребтах я выстроил лавки? Ах, вы черти этакие!.. Да вы б пропали без меня пропадом.

Кто вас выручает-то, как подати придет время платить, либо скотина падет, а?!. Кто вам хлеб зимой дает? Ведь вы с голоду подохли бы!..

– Ну, ты тоже, дюже уж кобенишься! – выражает свое неудовольствие толпа. – Отчего у нас хлеба не хватает? Ведь, ты ж осенью у нас его за долги отбираешь да в полцены ставишь...

– Ах, вы идола этакие! – горячится Распоясов.

– Сам ты идол! – отвечает толпа. – Ишь, нашим потом разжирел, да еще измывается всячески!..

Начинается ругня по всем правилам искусства. Иван еще подливает масла в огонь.

– Так его, православные, хорошенько! А то он скоро живьем глотать всех будет...

И затем отправляется ругаться к другому коммерсанту.

По отношению к полиции Иван просто бесчинствует. За десятскими он постоянно гоняется с палкою, и те спасаются от него только благодаря быстроте своих ног. Урядник боится показаться ему на

глаза. Самого станового он не раз ругал всячески и грозил рано иди поздно «добраться и до него». И, наконец, добрался.

Дело было на пожаре. Горел бедный мужик, живший на самом краю села. Самое деятельное участие в тушении пожара принимал Иван. Он лазил в самый огонь и спасал все, что было можно спасти. Он закоптился сажей, раскраснелся от жара; несколько раз загорались его лохмотья. Когда пожар уже кончился, он отбежал в сторону и сел отдохнуть. В это время явился становой, только что кончивший пульку с мировым судьей. Хотя пожар был уже почти совсем прекращен, становому, тем не менее, захотелось показать свою распорядительность. Увидав, что какой-то мужичонка сидит спокойно в стороне и не помогает тушить, он подбежал к нему и схватил его за шиворот.

– Ты что же, такой-сякой, так тебя раз-этак, не тушишь... ступай туши!..

И толкнул мужика в затылок.

Иван, который и был этим подвернувшимся мужичонкой, расвирипел. Обернулся он, да как становому размахнется... Тот так кубарем и полетел.

Становой был, что называется, «начеку». Об его подвигах производилось негласное дознание, и он боялся слететь с места. А тут новый скандал! Узнает губернатор – и фить!..

Все это быстро промелькнуло в голове станового, когда он поднялся с земли. И он, оглянувшись, заметил только:

– Ну, Иван, никому не говори!..

И отправился ближе к пожару...

Вскоре после этой истории у Ивана произошло новое столкновение.

Отправился он по уезду. В одном селе его оборванный костюм показался подозрительным местному уряднику, и тот потребовал у него паспорт.



– Есть у тебя вид? – спрашивает урядник Ивана.
– А у тебя есть вид? – отвечал Иван.
– Какой у меня вид? – удивился урядник.
– А у меня какой?
– Да ты знаешь, с кем говоришь? – расsvирепел урядник.

– А ты знаешь, с кем говоришь? – не менее задорно спрашивает Иван.

– Ах, ты негодяй! Сволочь!

– Ты сам сволочь!..

– А, так ты вот как!..

И урядник схватил за шиворот Ивана. Иван в свою очередь схватил урядника. На помощь уряднику уже бежали низшие полицейские чины; они сбили Ивана с ног и стали бить его. Оправившийся урядник принял участие в избиении. Били долго и безжалостно, пока Иван не потерял сознание. Тогда его бросили в «темную», а когда он пришел в себя, отправили в «уезд».

Исправник с важностью начал допрашивать его.

– Как же ты смел оскорблять урядника?

– А отчего вас, дьяволов, не оскорблять? – серьезно замечает Иван.

– Да ты как смеешь со мной так разговаривать?

– А ты как смеешь со мной так разговаривать?

Исправник только плюнул и велел вытолкать Ивана из «присутствия».

– Ты толкать-то меня толкай, а палку мою все-таки отдай!

– Какую там еще палку?

– Такую!.. Ироды-то твои у меня взяли, как били...

– Ну, убирайся! Какая еще палка!..

– Я уберусь, а ты палку мне подай! Она, может, мне дороже тыщи рублей...



– Пошел вон!.. Гоните его! – приказал исправник сторожам.

Ивана вытолкали из присутствия. Но он не унимался в кричал уже на улице:

– Так что же вы, черти эдакие, замотать палку-то хотите?...Нет, шалишь! Я на тебя найду управу... Палка-то, она из Киева, а не то чтобы какая-нибудь!..

В это время в Александровском проживал ученый агроном, командированный сюда для изучения какого-то насекомого, истреблявшего хлеба. Иван виделся с ним ранее и почувствовал к нему уважение за его ученость. Вот к нему-то и отправился Иван с жалобой на исправника.

– Скажи мне прямо, приступил Иван к делу, – можно ли подавать на исправника просьбу?

– Можно.

– А кому?

– Губернатору надо.

– Ну, а губернатор этот тоже вроде как бы член какой?

– Да вроде как член. Чиновник...

– Ну, так, стало быть, не стоит.

– А ты за что хотел жаловаться на исправника? – поинтересовался агроном.

– Да видишь ли, какая история...

И Иван рассказал про свое столкновение с урядником.

– Главное, палку-то мне жалко, – закончил рассказ Иван: – палку-то мне, ведь, из Киева бабушка одна принесла...

– Ну, если только из-за одной палки, то просьбы, действительно, не стоит подавать.

– Не воротишь, стало быть, палки-то?

– Не воротишь ..



– Ишь ты! Стало быть, правды-то нигде нет? – То-то и я так соображаю: нигде, мол, правды нет... И какая со мною, брат, история была, просто чудно говорить. Иду это я, братец ты мой, и слышу, кто-то зовет меня: «Дядя Иван! Дядя Иван!» Да такой-то тоненький голосок!.. Я гляжу туды-сюды, – никого нет. Что такое, думаю, за притча? А он опять кричит: «Дядя Иван! а, дядя Иван!» Глядь, а это рак: ползет, братец ты мой, по дороге, да и зовет меня. Что, говорю, тебе нужно? А он и говорит: «Возьми ты меня с собой, давай вместе жить! Да с чего ты это? – спрашиваю.—«А с того, говорит, что нельзя мне больше в воде жить: не стало у нас правды». – Да отчего это? – говорю. – «А оттого, говорит, что Распоясов плотину больно высоко на своей мельнице поднял: нам-то, говорит, хорошо, места больше под водой стало, а вот мужичкам обидно стало, – покосы ихние затопило. Ну, вот, говорит, я и убежал из речки-то, чтоб в одной компании с разбойником не быть»... Это он Распоясова разбойником-то называет... «Возьми, говорит, ты меня с собой: потому другие-то пусть как хотят, а мне больше несподручно жить в речке, – совесть, говорит, зазрит»... Ну, и взял я его и отнес в управление...

Иван говорил все это с самым серьезным лицом. Агроном слушал тоже серьезно, но под конец улыбнулся.

– А ты чего смеешься? – с неудовольствием спросил Иван – Думаешь, – брешу? Поди-ка в управление: там рак к казенной бумаге припечатан лежит... А ты лучше скажи, как по-твоему, по-ученому: правильно ли рак рассудил насчет правды-то?

– Кажется, правильно...

– Ну, вот ты и мотай это на ус...

И Иван повернулся и ушел.

* * *

Ночью – филин, весной –
 соловей,
 все сгущается: звуки и краски.
 Жизнь прекрасна особой своей
 не по тетиной, скажем, указке.

Так листва облетает с кустов,
 так вода застывает в кювете,
 там мне помнится город Ростов
 и походка твоя на рассвете.
 И, как будто фонарь на углу,
 сохраняющий отсвет

вчерашний,
 полюбил я вечернюю мглу
 и раздольные русские пашни.
 А за что – я не знаю и сам,
 только верю: любовь
 бескорыстна...

Подымаю глаза к небесам,
 замираю в предчувствии смысла.

Движение

Соседка по даче картошку копает,
 и мусор сжигает на желтой
 меже,
 и зыбко к навозу закат
 прилипает,
 и серые кошки скребут на душе.
 Дымок над землею взвивается
 змеем,
 и сливы срываются в самом
 соку,



**АЛЕКСАНДР
 МУШАЙЛОВ**

Поэзия





и я прикоснуться к соседке не смею, –
а вдруг оторваться потом не смогу?
И робость моя серебрится, как брошка:
ночами не спится, а если засну, –
на рыхлой земле сиротеет картошка
и честно теряет свою белизну.
А осени звуки блуждают, как звери,
и вечер вчерашний золою грешит,
и облик соседки гремит в атмосфере,
и ржавую ниткой халатик прошит.

Сокроет беседку лоза винограда,
взыграет во мгле молодое вино,
и мне до него дотянуться бы надо,
но тленье отринуть, увы не дано...

За свинофермою кладбище наше,
за свинофермою, где камыши,
там наша чаша, поклажа, пропажа, –
все, что осталось еще для души.

Месяц звенит безупречной подковой,
полузабытые метит кресты,
с коих на землю спадают оковы,
и в беспредельность ложатся мосты.

Ты пошагаешь, и я – за тобою,
ты оглянешься, и я обернусь:
что называли с тобою судьбою? –
Вроде, – любовь, а как будто бы – грусть.

Мир постигается опытным оком
и разбивается вдребезги сплошь.
Что понимали в пути одиноком? –
Кажется, – вправду, а вроде бы, – ложь.

* * *

Беззащитен я, как муравей,
но мне по плечу любая свора,
оттого, что множеством корней
связан я с величием простора.

Вот листва срывается с дерев,
обретая волю слободскую, –
это я, как школьник присмирив,
так о безотцовщине тоскую.

Вот и жито убрано уже,
желтою доносится скирдою, –
так и я стою на рубеже,
убранном соломой золотою.

И смотрю неведомо куда,
зори и закаты провожая,
и уходят в прошлое года –
вереница старцев небольшая.

Сгорбленные спины, армяки,
отголоски русского народа...
Вот остановились у реки,
не найдут, растерянные, брода.

Я на пристань с ними побреду,
пожалю детство, как утрату,
и последним в старческом ряду
на паром проследую по трапу.



Песенка

Брился бритвами чужими,
сумки ветхие таскал,
птицы черные кружили
там, где девушек ласкал.

Помню озеро лесное:
блеск осоки, стынь лозы,
очертанье вырезное
сизокрылой стрекозы.

Бабка по двору ходила,
от гусей помет мела,
дядю Леву тетя Мила
за грибами увела.

И сырым ветрам по нраву,
залетая за версту,
листья падали в канаву, –
не лежали на мосту...

Брился бритвами чужими,
сумки ветхие таскал,
как бестыжий лис в кувшине,
тщетно лакомства искал.

Дело вовсе не в посуде
и не в листьях на мосту,
но злопамятный по сути,
стал я зол по существу:

Раздарил все тряпки-шмотки,
плюнул в теплую кровать,
стал засовы и решетки
за собою закрывать.



Вот и вся на то причина,
вот и весь на этом путь...
Ты гори, моя лучина,
да погаснуть не забудь!

Ласточка

Ласточки носятся в небе июньском
трели, как бусы: порвались – и вниз,
будто бы ноты по ниточкам узким
звонко скользнули, задев за карниз.

Сердцу близки эти быстрые звуки
так, что вбирает прожорливый взор
и отложившийся берег разлуки,
и обнажившейся встречи узор.

Я закрываю глаза ненароком
и забываю на миг обо всем...

Между забвением, звуком и сроком
мы заплутавшую душу пасем.

* * *

Приезжай ко мне и не тужи, –
что уж тут поделаешь с тобою,
коль ходила в лес за гаражи
с пьяной городской шантрапою.

Встретимся на станции глухой,
молодости руку предлагая,
и погода будет неплохой,
и скажу тебе я: "Дорогая!"



Обнимай меня и вспоминай
в горьком предвкушении разлуки,
что любовь,
как пышный каравай,
медленно проходит через руки.

Я тебе попробую помочь,
о прошедшей юности печалюсь, –
будешь мне рассказывать всю ночь,
чтоб скупые слезы не кончались.

Все, что наболело, – не скрывай,
есть на то извечная причина,
ведь любовь, как пышный каравай,
с хороводом рук неразлучима.

* * *

Не ощущаю тяжести годов...
 О Боже, ну какая это тяжесть?
 Среди степей, нехоженых лугов
 Сама судьба мне узелочки вяжет.

Я обнимаю утречком зарю
 И крылья расправляю для
 полета.

И еще страдаю, радуюсь, горю
 И кудри завиваю для кого-то.

Стремленье жить –
 победа всех побед,
 Обиды, боль
 приходят и уходят.

Моей строкою
 каждый день воспет –
 Стихи, как нимфы,
 всюду рядом бродят...

Утром

Отворю я оконце к рассвету,
 Да ладонью прикрою глаза –
 Слишком много жемчужного
 света
 Изливают в мой дом небеса.

Как чисты и отрадны потоки
 Исцеляющих душу лучей.
 Льются в сердце крылатые
 строки,
 Словно звонкий, весенний
 ручей.



**ВАЛЕНТИНА
 НАРЫЖНАЯ**

Поэзия





Я от этого счастья хмелею
И боюсь за него, и молюсь...
Может, строчкой какую согрею
Я свою православную Русь.

* * *

Гляну я в небо: летят журавли,
А на степь погляжу – ковыли.
Брошу взгляд на поля –там косьба,
Там комбайны молотят хлеба.
На токах уже горы зерна,
Хлеборобам теперь не до сна.
О, просторы мои!.. Помолюсь:
Ты жива, моя матушка-Русь!
Греют сердце красоты земли
(Что еще мы пока сберегли),
Хлеборобские лица и пот,
И журавок спокойный полет.

* * *

Листопада таинственной речью
Очарован бордовый закат.
А самой-то ничуть мне не легче
На печальный смотреть листопад.

Мне-то видится вовсе другое:
Будто с этой прощальной листвой
Что-то с жизни уходит такое,
Что уже не вернется весной.

Выйду в сад к оголенной аллее,
Где дарил мне любимый кольцо...
А хрустальный закат уже млеет,
И печаль покрывает лицо.

* * *

Я все могла б тебе простить,
Но позабыть, увы, нет силы.
И эту порванную нить
Нам не связать уже, мой милый.
Я не сочту былых потерь
Во все, что верила, – не верю.
Захлопну наглухо я дверь,
И ты останешься за нею.
Зачем опять пришел ко мне?
Нам не вернуть любви ушедшей...
И этот свет в моем окне,
Как пепел роз давно сгоревших.

Бабья песня

С ума сводила бабья песня
И болью сдавливала грудь,
Как будто сердцу стало тесно:
Не выдохнуть и не вдохнуть.
А бабы пели скорбно, громко,
И песня та до всех дошла...
Заката черная каемка
На плечи им платком легла.
Неслась та песня по округе
На все четыре стороны –
О том любимом, верном друге,
Что не пришел домой с войны.
Ждала та песня мужа, сына
И свято верила в успех,
Была та песня, как судьбина:
Одна на всех, одна за всех.
*И зазвенел вдруг чист и тонок –
Совсем девичий голосок,
И рвал сердца он, как осколок,
Как память, бьющая в висок.*



* * *

Пошли мне, Всевышний, покоя, –
Настала такая пора.
Уйдут пусть в раздолье степное
Тревог окаянных ветра.

Под небом и светлым, и мглистым
Вся степь в лучезарных цветах.
пойду я по травам душистым
С травинкой в горячих устах.

За счастьем мне незачем гнаться
Сквозь память о прошлом моем.
Хочу я журавкой подняться
Над этим духмяным жнивьем.

Тяжелую сбросив усталость,
Забыться под сенью ветвей,
И вспомнить лишь самую малость,
Что род мой от здешних корней!

Мы продолжаем печатать неопубликованный роман известного ставропольского писателя и журналиста Василия Никаноровича Грязева, основанный на событиях собственной биографии. Бывший учитель Подкатилин становится журналистом и сполна окунается в газетную жизнь, "руководимую" партийными органами. Писателем достоверно и талантливо воссоздана атмосфера творческой жизни на Кавминводах в шестидесятые – семидесятые годы прошлого века.



**ВАСИЛИЙ
ГРЯЗЕВ**

Проза

Провинция

Часть третья

В кабинете Попова огромный стол, почти от стены до стены, светлый, полированный. На нем чернильный прибор, стакан с остро отточенными карандашами. У стола – хозяин кабинета, сухолицый, с бронзовым загаром, спортивного типа мужчина в темно-сером костюме с иголкой и с сигаретой в руке.

– Что вы хотели? – спросил он.

– Я журналист. Меня к вам направили крайкомовцы.





Попов поморщился и, не предлагая садиться, потому что сам стоял, расспросил поподробнее, кого прислали крайкомовцы.

Василию показалось, слушал редактор невнимательно, он и обрадовался: все складывалось так, как они и предполагали с редактором районки. Не получится у них с Поповым взаимной любви. И потому без всякого беспокойства разглядывал редактора. На его измученном лице следы, должно быть, несладкой жизни. Острый подбородок, острый нос, уши, смахивающие на раковины средней величины, плотно прижаты к голове. Лоб тоже острый и острый взгляд карих глаз. Говорит быстро каким-то вывернутым баском, даже не все разберешь из того, что он говорит.

– Крайком прислал? Кто именно?

Выслушал. Пожевал губы и сердито спросил:

– Они меня считают за мальчика, что ли? Без них сотрудников не найду?

– Вас не знаю, за кого считают, а меня скорее – за мальчика.

– Почему?

– Насильно пригнали к вам. А я, честно признаться, не хочу работать здесь. Я заявился к вам, только повинюсь распоряжению.

– Что же вас пугает? Строгости наши? Но вы меня совершенно не знаете, – подобие самодовольной улыбки промелькнуло на лице Попова, и он пригласил гостя садиться. Сел сам.

– В своей газете я на месте был, – ответил Василий.

– Простите, у меня нынче с ушами не все в порядке, и я не расслышал вашу фамилию.

Подкатилин назвал себя.



– Вот вы какой! Ваше имя встречалось в городской газете часто. Бойкое перо, должно быть. Но вашего я еще ничего не читал, набирая штат. Ваши публикации мне подобрали, но читать я еще ничего не читал, – повторил он и совсем жалобно добавил. – С зубами маюсь.

По всей вероятности Василий совсем не к месту пошутил:

– Наполеон проиграл сражение из-за насморка.

– Думаете, из-за зубной боли мог потерять вас? – совсем не обиделся редактор.

Только теперь заметил Подкатилин, что Леонид Васильевич (так звали Попова) лишь полуоткрывает рот. Не потому ли так неразборчива его речь? Не от того ли его басок кажется каким-то вывернутым?

– Вы можете немного рассказать о себе? – заинтересовался Попов.

С юморком поведал ему о первых шагах на журналистской стезе, о собкорстве, о работе в отделах культуры и партийной жизни республиканской газеты. А у него было немало смешных и горьких случаев.

– Видел ваши рассказы в газете. И беллетристикой балуетесь?

– Не балуюсь, Леонид Васильевич, упорно тружусь. И все ищу время для подобных занятий. Газета, сами знаете, не оставляет времени для подобных занятий...

– Не оставляет, – согласился редактор. – Газета похожа на сварливую и очень ревнивую бабенку. Хочет, чтобы ты принадлежал только ей. И никому больше.



Василий расчувствовался и стал нахваливать время, прожитое в станице, когда его там держали в роли собственного корреспондента.

– А как в республиканской к вам относились?

– Плохо, – пошутил Василий. – Всякий раз, как приезжаю к ним, устраивают банкет. После таких братских приемов едва ноги волочишь, возвращаясь домой.

Об этом тоже сказал не без умысла: пусть знает, что употребляю "при случае".

Редактор принял шутку:

– Плохая водка у них?

– Очень плохая. Чуть увлечешься – с ног валит.

– С начальством дружно жили?

– Всякое случалось.

Рассказал ему о заведующем партотделом, по-жилом газетчике из самоучек.

– Бывало, после командировки принесу ему статью, он прочтет, похвалит: молодец, Вася, в вопросе досконально разобрался, основательно, примеры хорошие привел, изложил толково. Но только знаешь тут политики не хватает... Вздохнет, заправит в мундштук новую коротенькую сигарету, берется за ручку и начинает добавлять политики. После него статья пестрит фразами: "включившись в социалистическое соревнование", "следуя указаниям вождя", "по пути, указанному партией и лично товарищем Сталиным".

– Было, было такое...

Глаза у Леонида Васильевича сделались живыми, веселыми. Совсем другим человеком стал. Посмеявшись, неожиданно пригласил:

– Как вы смотрите на отдел информации?

– В каком смысле?



– Если возьму вас заведующим.

И еще не получив согласия, посчитал дело решенным. Стал инструктировать. А, проинструктировав, признался:

– На это место я планировал Даню Майданского. Это, не в обиду вам будет сказано, настоящий ас, король репортажей. Свежую новость из-под земли достанет.

Дифирамбы неизвестному Дане резанули:

– Пригласили б человека.

– Какой же дурак такого работника отпустит? Газета, сами знаете, на интересной информации держится.

Василий хотел спросить – зачем же предлагать отдел человеку, если нет уверенности, сможет он поставлять в газету свежую информацию и королевские репортажи? Не успел спросить. В кабинет без стука ввалился толстый мужик в голубом с зеленоватыми крапинками пальто, в черной помятой шляпе с узкими полями. Улыбаясь во весь рот, полный стальных зубов, спросил редактора:

– Не ждал?

– Даня! – вскочил Попов, – Вот уж действительно не ждал. И сейчас еще не совсем верю своим глазам.

Вышел из-за стола, обнял гостя, и, отстранив его от себя на вытянутые руки, удивился:

– Видок у тебя, старина! После бурной ночи? После дикого похмелья?

– Только с автобуса, Леня. Почти двести верст пропил. Измучился. А после дикого похмелья – неужто забыл? – я выгляжу свеженьким, только с грядки огурчиком...

– На осенней грядке?



Вот кого, оказывается, ждал Попов. Они вместе работали в "Ставрополке". Ничего королевского в Майданском не показалось... Но первое впечатление не всегда бывает безошибочным.

– Ну, Даня, ты шагай к заведующему редакцией, устраивай свои хозяйственные делишки, а мы тут с товарищем кое-что обсудим. Да вы познакомьтесь. Он тоже будет работать у нас.

Когда Даня оставил их, редактор сказал:

– Извините, теперь придется толковать об отделе культуры. Там сейчас Леонид Федорович Епанешников. Я перевожу его в ответственные секретари. Он спит и видит эту должность... Согласны идти в отдел культуры? Это все-таки ближе к вашему хобби, как теперь называют увлечение работой в часы досуга.

Василий искренно обрадовался:

– Мечта моей юности, Леонид Васильевич.

– Можете считать – с приездом Дани Майданского вам крупно повезло. Теперь послушайте, каким бы я хотел видеть отдел культуры в нашей курортной газете...

Заведующим отделом культуры Подкатилин тоже не стал: Попову принесли телеграмму из Москвы – ЦК присылал некоего опытного газетчика Хействера и рекомендовал его ответственным секретарем.

Леонид Федорович таким образом оставался на своем месте, а Василий оставался не у дел. Но что поделаешь? Вернется к себе. Его возвращением будут довольны.

Прочитав телеграмму, Попов виновато усмехнулся:

– Не везет нам сегодня.



– А может, и к лучшему все это?– спросил Подкатилин, не выказывая обиды.– Расстанемся, как говорится, друзьями, Леонид Васильевич.

– Нет, вы мне приглянулись. Пойдете в секретариат,– почти в приказном тоне произнес Попов.– Немного поработаете, со временем определимся. В секретариате работали когда-нибудь?

– Никогда.

– Ничего, освоитесь. Вы газетчик со стажем, новое дело быстро освоите. Покантуетесь месяц-другой, а потом подберем для вас что-нибудь солиднее, чем работник секретариата.

Вот так. От заведующего отделом до литсотрудника, да еще секретариата. Настроение портилось все больше и больше. Надо было отказаться от его предложения, но сам не понимает, почему не отказался. Какое чувство сработало? Был очень подходящий момент отказаться от сотрудничества.

Для работы в редакционном штабе надо было обладать недюжинной силой, бычьим здоровьем, и поэтому редактор предупредил:

– Не все там выдерживают, но мы вас долго страдать не заставим,– усмехнулся,– хотя по моим наблюдениям вы все выдержите.

– Посмотрим. Когда приезжать?

– Да хоть завтра.

Уже месяц в секретариате. Ответственному положено два заместителя, но пока только один. Хотя Василий и выполнял обязанности второго, числился литсотрудником.

– Знаете,– извинялся Попов,– меня не поймут, если назначу заместителем человека, не знающего азов секретариатского дела.



Значит, назначить ответственным секретарем человека, ни бельмеса не понимающего в этой работе, можно, а заместителем нельзя? Молчал. Раз влип, что делать теперь? Многого не знал, Попов прав. Но человек крестьянского происхождения – мужик, следовательно, смывленный и усидчивый, – думал Подкатилин сам о себе, а главное – терпеливый, не бегущий от трудностей, а это порука – быстро освоить новое для себя дело.

Остался. И вот прошел месяц. Многое узнал, во многом разобрался и стал чуть ли не главным козлом отпущения в секретариате. Есть ответственный, есть заместитель ответственного, а все шишки за беспорядки на него. И это еще газета не выходила, только готовились полосы, разумеется, запасные, так называемые "железобетонные", не стареющие. А когда пойдет газетный конвейер?

Василий дал себе слово – поработать еще с полмесяца, а потом распрощаться с "Кавказской здравницей". Или назад, в районку, или на телевидение. Нельзя работать, когда тебя поминутно тычут носом то в одно, то в другое, хотя ты и не виноват. Нельзя работать, когда вроде ты один портишь газету и нервы любимому редактору.

Отмалчивался, но в душе поднималась буря: "Дождешься ты у меня, Попов. В бешенстве я не подбираю ни слов, ни выражений. И на твой почтенный возраст не погляжу. А до поры до времени терплю".

В секретариате рассказывали свежий анекдот, а Василия опять потащили к шефу. Попов на этот раз был спокоен, как и в тот день, когда они впервые встретились и так хорошо поговорили.



– Садитесь, – предложил редактор. – Как работается?

– Будто сами не знаете, как работается.

– Чему-нибудь научились за месяц?

Опять какие-то придирки начнутся?

– Вам виднее. Если по десятку раз в день стою смиренно перед вашими глазами.

– Не сердитесь, Подкатилин. Служба есть служба. Не всегда получается так, как хочется. Издержки производства, по выражению бюрократов. Но вы правы, мне виднее, чему вы научились. По этой причине и вызываю вас к себе чаще других... Извините...

Странный разговор. К чему бы? Попов продолжал:

– В связи с наступающим новым годом, а так же, высокопарно выражаясь, учитывая ваши заслуги в становлении секретариата, с сегодняшнего дня назначаю вас заместителем ответственного.

Так он получил повышение, но от того жизнь его отнюдь не улучшилась. А под самый новый год едва не закончилась катастрофой.

Он только что воротился от Попова, секретарша заглянула в дверь:

– К редактору.

– Так к нему же пошли папа Шульц и Епанешников.

– Велел и вас позвать.

Господи, задергал. Через несколько часов новый год, а он терзает – не та линейка, не та концовка, не та рамка и совсем неподходящим шрифтом набран заголовок. Все ж исправили, все сделали по его желанию. Что еще надо?



Подкаталин сердито закрыл за собою редакторскую дверь и подошел к столу. Рядом с приставным столиком тянулся во-фрунт папа Шульц, как редакционные острословы окрестили Валентина Исааковича Хействера, посмотрев кинокомедию "Бабетта идет на войну". Чуть в сторонке переминался на полусогнутых больных ногах Леня Епанешников, временно оставшийся в "штабе" редакции, потому что папа Шульц в секретариатских делах был ни бум-бум. Леня то поправлял очки, то почесывал лысину. И в мыслях был далеко-далеко отсюда. Даже непонятная ухмылочка пробегала по его лицу. Счастливый характер – пропустить мимо ушей начальственное недовольство. Это о нем, должно быть, поговорка – брань на восту не виснет. Тем более к этому попустительству, так взвинтившему Попова, он никакого отношения не имеет.

Редактор, похожий на тигра в клетке, мотающегося по ту сторону стола, изредка останавливался, нервно бросал на полированный стол то очки (как они не разбивались), то очередной карандаш, выхваченный из стакана.

Доведенный до бешенства бесконечными вызовами, Василий сердито бросил:

– Слушаю вас.

Попов ткнул синим карандашом в полосу:

– Кто засылал в набор этот бездарный опус?

– Спросили бы Валентина Исааковича. Кажется, он тут главный.

– Я спрашиваю вас,

– Разве в секретариате один я работаю? – не хотелось выдавать виновника: засылал-то статью в набор папа Шульц. Пусть и признается.



Леня не выдержал:

– Да что скрывать, Валентин Исаакович?

Папа Шульц взбеленился:

– Ну я, я, я! Казнить меня теперь за это? Статья вашего друга, Леонид Васильевич. Он старый журналист, как его сочинение можно было браковать?

– Вот так! – перечеркнул он материал. – К черту старых журналистов и друзей, не умеющих писать! Дело прежде всего. Дело, товарищ Хействер!.. Чем заменим это сочинение? Поставим портрет ответственного секретаря?

Нашли подходящий материал и по содержанию и по размеру. Редактор прочитал гранки:

– Ставьте. А вы, – глянул на Подкатилина. – Отправляйтесь в типографию, проследите, чтобы все, как надо, было сделано. Хействера посылать бестолку, у Леонида Федоровича больные ноги – не секретариат а инвалидная команда... Вам же, как новому заместителю ответственного полезно прогуляться.

Вернулись в секретариат втроем. Леня, пританцовывая на больных ногах, приговаривал:

– Пронесло, пронесло...

Завидный характер!

Папа Шульц тоже быстро успокоился. Старый газетчик, он многое повидал на своем веку и множество нотаций выслушал. Не один редактор промелькнул перед его взором. Привык к бурным начальственным вспышкам. И если иногда эти вспышки задевали его, то совсем ненадолго, он тотчас забывал об этих бурях в стакане.

В секретариате папа Шульц никогда не работал, как и Подкатилин. Но в отличие от него Ва-



лентин Исаакович не знал ни одного названия шрифта. Слышать слышал, но отличить, допустим, боргес от цицеро ни за что не мог. Не знал, что такое квадрат, что такое пункты. О нонпарели слышал из анекдота, выдаваемого за быль:

– Пришел к нам редактором партийный функционер. Сел в кресло и стал читать материалы. А какую резолюцию ставить на прочитанном? Спрашивать постыдился, но подсмотрел, что пишет ответсекретарь на уголке (а тот как раз засылал объявления) и себе стал писать: "нонпарель, три квадрата". И пошел редактор над каждым материалом писать резолюцию – "нонпарель, три квадрата". Из типографии звонят: "Вы что там, с ума посходили?). Узнав, в чем дело, ответственный секретарь заскочил к редактору и дико заорал: "Вы что делаете? Это контрреволюция! Это конец газете!"

Рассказчик захохотал громче слушателей.

Папа Шульц был евреем, но больше всех и лучше всех рассказывал еврейские анекдоты, вроде:

– Пришли в столовую трое – русский, еврей и китаец. Взяли они по стакану чаю. Каждому в стакан упало по мухе. Русский пальцами выловил муху и с отвращением выкинул. Китаец муху съел. Еврей продал муху китайцу.

Или:

– Поймали Мойшу с поличным – миллиончик хапнул. Стали стыдить мошенника: страна идет к коммунизму, а ты воруешь такими кусками.

Мойша отвечает: "Гражданин прокурор, дорога в коммунизм длинная-предлинная, знаете, сколько денег понадобится, пока к нему дойдешь! Боюсь и миллиона будет мало".



Папа Шульц был веселым человеком, общительным, любителем выпить, но больше – закусить. Толк в хорошей еде он понимал, может, по той причине и никогда не бывал пьяным. Во всяком случае – таким его никогда не видели. Но при небольшом росте комплекции он был внушительной.

За окном падал снег. Хорошая зимняя ночь. Почти новогодняя. А новоиспеченному заму надо тащиться в типографию с этой дурацкой статьей. Он оделся, нахлобучил шапку и пошутил:

– Не вернусь, считайте погибшим от редакторских происков.

– Ладно, дуй, – отозвался папа Шульц, – А завтра придет дружок Попова – изложим ему происшествие со всеми подробностями.

– Действуйте, Валентин Исаакович. Не дадим пощады нашему узурпатору.

Короткая улица Гоголя, поворот направо, в гору... Прежде, чем войти в типографию, надо миновать маленькую проходную, предъявив пропуск. Потом пройти небольшой заснеженный дворик и – дверь в типографию. Старое дореволюционное здание в два этажа. Тогда, до революции, здесь печатались большие газеты и даже журналы. Но уже много лет выходила одна малоформатная городская газетенка, недавно почившая в бозе. С нею справлялся один метранпаж, тем более, что версталась она без особых вычурностей: по "кирпичу" на каждой полосе и заметки на подверстку.

С переходом на большой формат нашли двух помощников-учеников метранпажу Владимиру Ивановичу, типографскому зубру почти с дорево-



люционным стажем. Подкатилин рассказал старику о художествах редактора, он успокоил:

– А почти все они сумасшедшие люди, не обращайтесь внимания. – блеснул очками, за которыми светились улыбочивые глаза. – Все как надо сделаем. А вы в секретариате до этого не работали?

– Нет.

– Вот и хорошо, что вас редактор сюда послал... От меня зависело б, я всех журналистов пропустил бы через секретариат да типографию.

Работа шла как бы сама собой. Молодые помощники ползали словно сонные мухи. Не мудрено – шел четвертый час нового дня.

Городскую печатали на плоских машинах, а для большой установили ротацию. Сколько неприятностей пришлось пережить! То продавливались матрицы, то не отливался стереотип, то потом не получалась приправка, то рвалась бумага. Только к половине двенадцатого первого января тысяча девятьсот шестидесятого года заместитель ответственного получил более или менее сносный номер. Бегом к редактору, который ждал у себя дома.

Несколько дней назад у Попова выдрали последние зубы, и он мучился в ожидании протезов. Сидел Леонид Васильевич в кухне за небольшим обеденным столиком. Перед ним початая бутылка водки, на тарелке – печень трески, которая тогда продавалась в изобилии и почти даром, «закусывал печенью, потому что больше ничего не мог есть. А тут жевать не нужно.

Бегло оглядел горяченький номер:

– Хорошо, что первый блин не комом. Молодец, – похвалил Василия, – шрифт хороший для заголовка подобрали.



– Вместе с Владимиром Ивановичем.

– С Владимиром Ивановичем? Прекрасный старик. Я когда-то у него помощником работал. Типографские азы осваивал. Я, брат, начинал журналистику с типографии.

Встретили новый год с большим опозданием. Обмыли первый номер. Год начинался тысяча девятьсот шестидесятый. По четырем полосам газеты они, как им казалось, раскидали слова Никиты Сергеевича Хрущева: "Дела у нас идут хорошо".

У Василия дела шли тоже неплохо. Но он все чаще и чаще вспоминал о прежней станичной жизни – прекрасном времени, когда все выпрямлялось в жизни, когда многое переосмысливалось, переделывалось к лучшему, когда было столько надежд на грядущее!

Иногда, правда, к худшему переделывалось – у начальства появлялся зуд к перестройкам. Без всякой необходимости, например, ликвидировали Суворовский район, посчитали, лучше будет, если его слить с Ессентуками. Слили. А потом одумались: зря. Но все возвращать назад неудобно – решили создать новый. Бывший Суворовский объединили с пригородными хозяйствами Ессентуков и Пятигорска. Назвали его Предгорным районом.

Василий побывал на первой партконференции нового района. Очень тогда запомнилась знаменитость – Иван Кононович Лебедев. Потрясая воздетыми руками с белоснежными обшлагами на запястьях, он кричал в переполненный зал:

– И если партия прикажет Первому: иди, Лебедев, парторгом на свиноферму – пойду без разговоров.

В ту минуту он и сам себе верил, что пойдет.



С грустью слушал Василий панегерик первого лица края новому району. По цифрам и в самом деле все выходило хорошо, а по логике – глупость. Зачем было смешивать курортное дело и сельское хозяйство?

У Попова, когда Василий зашел к нему, сидел Борис Рывкин, редакторский друг, недавно вернувшийся с Севера, где он "нагонял" трудовой стаж. Попов указал Василию на кресло, а они продолжали начатый разговор:

– Ты толком объясни, почему снял мой материал из твоего исторического номера? – допытывался Рывкин.

– Не просто снял, а выбросил в котел.

– Ну вот и объясни, почему такая немилость?

– Откровенно?

– Только откровенно. Не надо зайцем петлять.

– Хорошо. Не хочу пачкать газету дерьмовыми материалами. Пиши лучше и тогда вопросов не будет.

– Лучше тебя все равно не напишешь.

– Тогда и не берись. Ибо печатаю только тех, кто лучше меня пишет.

Когда готовился первый, новогодний номер, Рывкин помогал секретариату – он очень любил эту работу. Человеком он был обеспеченным, сейчас нигде не служил, и в "штаб" приходил потрепаться, вспомнить молодость. Тогда же Хействер и заслал его материал. Редактор не возражал против напечатания статьи, но читать ее до набора не читал.

– А знаешь, Леня, я ведь могу устроить диверсию, – переходил на шуточный тон Рывкин. Он, конечно, хорошо понимал – для "исторического" номера материал слабоватый.



– Любопытно.

– Возьму пару бутылок коньяку, спою твой могучий секретариат и тем самым выведу его из строя.

– Наивный ты человек, Боря, надумал двумя бутылками спить секретариат, вывести его из строя.

– Тогда возьму вдвое больше – слава Богу пенсия позволяет.

– Вдвое больше возьмешь – заглядывай ко мне, может, до чего-то и дотолкуемся.

Добавил уже серьезно:

– Новый твой очерк прочитал с удовольствием. Вот такими опусами и продолжай радовать нашего читателя.

– И четырех бутылок покупать не нужно?

– Сам угощать буду.

– Ловлю на слове. Свидетель есть.

В секретариате Рывкин жаловался:

– Хороший редактор Леня, а дури напустит – невыносимым становится. Все рвется в газетные революционеры. Аджубея с его "Известиями" переплюнуть хочет... С Леной можно водку пить, но работать с ним – Боже избавь. Я ему в глаза говорил: как тебя секретариатские ребята терпят?

Терпели с трудом. Утро обычно начиналось с разгона, с одного и того же – не та линейка, не та рамка, не тот шрифт, не та концовка... Швырянье очков, цветных карандашей. В своих замечаниях он был, как всегда, прав. Но всякий раз взвинчиваться самому и других взвинчивать? Правда, он быстро отходил. Да что от того! Обычно шли к нему, как на допрос к очень нервному следователю.



Когда Рывкин ушел, Василий взял рукопись его очерка, приготовленного к отправке в типографию, и онемел: он был о Феде Малахове. Рывкин и Федя познакомились еще в Магадане. И нигде-нибудь, а в отделении КГБ, куда Малахов привел сдавать власовского контрразведчика.

Очерк действительно интересный. Написан хоть и без блеска, но по материалу – захватывающий.

...Феде оставалось два года до освобождения, но он не дождался – сбежал из лагеря. Сбежал удачно. Жил по поддельным документам в Магадане. Рассчитывал, что его будут искать далеко, где-нибудь на юге, а он прокрутится неподалеку.

Все шло хорошо. Но однажды Федя встретил на улице работника власовской контрразведки. И узнал его, хотя тот носил теперь усы и бородку.

– Господин Гурнов?

Тот зыркнул по сторонам – поблизости никого не было.

– Вы ошибаетесь, я совсем не Гурнов.

– Ах, сука, я тебя до конца жизни буду помнить. Хоть десять бородок заводи – узнаю.

– Отстань от меня! – теперь Гурнов откровенно крутил головой в поисках защиты.

Он, конечно же, вспомнил Малахова, пытавшегося бежать от власовцев и кричавшего тогда:

– Я пришел в вашу армию, чтобы быстрее бежать к своим, советским.

– Теперь ты останешься у нас навсегда, – пригрозил Гурнов. – Мы именно так и поступаем с дезертирами.

Неожиданное наступление советского полка избавило Федю от расстрела. Но теперь его схва-



тили как махрового власовца. И хоть грехов за парнем не нашлось, но одна только принадлежность к злейшему врагу, власовская форма, дала право приговорить Малахова к десяти годам. Вот из-за такого подонка Федя тогда не смог убежать к своим и молодость провел в лагере. Но самое страшное – меченым теперь оставался на всю жизнь.

– Отстань от меня, я вовсе не Гурнов, – орал задержанный, не орал, а как бы шипел. Боялся громко кричать, что еще раз убедило Федю, что он не ошибся. Рубанул задержанного по шее и поволок в ближайшее отделение милиции, приговаривая:

– А это мы проверим сейчас, это мы проверим сейчас.

Заломив руки старому знакомцу, забыв, что сам беглец, сдал задержанного и сознался в собственном преступлении – бегстве из лагеря.

Далее автор очерка рассказывал, каких трудов стоило начальнику управления добиться реабилитации Малахова.

Подкатилин с удовольствием прочитал очерк. И как же Федя вырос в его глазах!

Когда Малахова спросили, почему он не прошел мимо Гурнова, сделал бы вид, что не узнал. Надеялся на прощение, что ли? Вряд ли оно последует.

Федя ответил молодому лейтенанту:

– Не об этом я думал, сморчок. Вы готовы подозревать негодяя в каждом человеке, а настоящих негодяев не видите.

Малахова все же судили: побег простили, а срок он досидел почти полностью. Он не хотел пощады, чтобы никто и не подумал – купил, мол, свободу за счет другого.



Редактор выбил в горисполкоме комнатуху под общежитие, и поселились в ней – Ефим Лукашевич, а попросту – Лукаш, Иван Ященко, Майданский и Подкатилин. Комната небольшая, но теплая, чистенькая, заставленная металлическими кроватями с постелями, привезенными из дому. Но одно дело пожить в отрыве от семьи неделю другую и совсем иное, если общежитское житье затягивается. Ни помыться, ни постирать, ни детей повидать. К тому же все они люди семейные, довольно молодые.

Газета приносила много хлопот. Иногда и ночевать приходилось в редакции, особенно замсекретарю. Телетайпы лихорадили до полуночи: то одно подсунут, то другое. А трамвай ходил редко ночью. Пешком далеко до общежития. Да и ребят беспокоить ночными звонками не хотелось. Вот и давит обшарпанный диван заместитель ответственного секретаря. Свернется калачиком, как сирота, как бездомный. Утром сполоснет лицо, перехватит горяченьких пирожков и – снова за работу.

После нового года в общежитии осталось несколько пустых бутылок. Лукаш поставил их под свою кровать и шутиливо загадал:

– Заставим пустыми бутылками подкроватную площадку – немедленно получим квартиры. Все теперь зависит от нашей активности в борьбе с зеленым змием.

Кто же откажется от желания быстрее получить квартиру?

А жена Лукаша, видно, не хотела этого понять – из-за двери комнаты доносился ее истошный крик:

– Ефим? Что же ты делаешь, негодяй? А кто детей твоих кормить должен? Пушкин? Сам, видно, не просыхаешь – такой бутылочный склад устроил под кроватью.

– Тише ори, Аня. Ребята скоро придут. Не показывай себя перед ними душой. Меня ты давно уже не удивляешь своими истериками. И жадностью. Все до копейки тащу домой, а никак не напихаю твой бездонный кошелек.

Это приехала жена к Лукашу. Заходить в комнату? Не заходить? Василий очень устал и только потому не повернул обратно. Постучался.

– Войдите, – обрадованно пробасил Лукаш. Голос у него, как звук трубы иерихонской.

Невысокая, довольно симпатичная женщина, взлохмаченная, похожая на курицу, только что отбившуюся от коршуна, натянуто улыбнулась, узнав Подкатилина.

– Вот познакомься, – сказал Лукаш, – законная супруга. На этом основании едва не выцарапала мужу глаза. А из-за чего? Ты спроси ее из-за чего?

– Мы уже знакомы, – ответил Василий. – А что собиралась тебя ослепить – не верю.

– Ефим, как тебе не стыдно позорить жену? – почувствовав поддержку Василия, мягко укорила она супруга.

Длинноногий и черный, как цыган, Лукаш вышагивал по тесной дорожке между кроватями, жаловался:

– Пьяницу, понимаешь, нашла. Вот Васю спроси, видел он меня когда-нибудь нетрезвым?

– Вася сам, небось, такой, – продолжала Лукашиха. – Станет он выдавать тебя.

А Ефим продолжал:



– Работаешь до издоху, а она тебе еще нервы выкручивает.

Насчет работы он не преувеличивал, а, выпивать... После изнурительного, почти рабского труда случилось и бутылку, другую уничтожали. Этим баловался не один Лукаш. А жену его взбесило, что под другими кроватями пустой посуды не нашла, когда наводила порядок в комнате. Под Ефимовой же койкой – целая батарея пустых бутылок. Разве не подумаешь о самом плохом?

Поняв, что вызвало ее гнев, Подкатилин рассмеялся и спросил Лукаша:

– А ты объяснил, в чем дело?

– В чем, – хищно зыркнула женщина, видимо, подумала, что есть и другое объяснение.

– Мы загадали: как заставим Ефимово подкроватье пустыми бутылками, так получим квартиры. Вот и стараемся. Теперь даже на улице мимо пустой четвертинки не пройдем.

Она засмеялась – должно, так точно и муж ей объяснял, но еще не совсем верила:

– Ох, мужики, мужики, вы и мастера же водить своих жен за нос. Всему объяснение найдете.

– Ну?– победно спросил ее Лукаш.– А что я тебе говорил?

Между супругами наступил мир и, значит, третий должен уйти.

Василий для виду покопался в своем чемоданишке, будто что-то искал, и поплелся в редакцию на свой продавленный диван.

Господи, когда же все устроится в холостяцкой жизни? Когда же наступит человеческая жизнь?



Но жить по-человечески и быть журналистом нельзя. Командировки, поиски интересных людей, фактов, мучения над статьями и очерками, тяжелые объяснения с героями критических материалов, угрозы, жалобы, объяснения, пропихивание сочинений на газетные полосы..

Чтобы как-то скрасить нелегкую жизнь, облегчить каторжный труд, устраивали веселые розыгрыши, мистификации, соревнования на лучший анекдот, импровизированную остроту. Внеконкурсным анекдотчиком был папа Шульц. Какое множество знал их! И один интереснее, смешнее другого. А мастером розыгрышей был Леня Епанешников. Однажды в его сети попался Коля Слесарев.

Коля работал инструктором физкультуры на винзаводе. Добрый, компанейский, всегда веселый парень, разбитной, хороший организатор. Сам трезвенник, но любил угостить товарищей, побалагурить, рассказать о проделках физкультурных деятелей. Сам он был судьей по футболу республиканской категории. Его приглашали судить матчи в различные российские города, в соседние республики. От него Подкатилин (наивный человек) впервые узнал о продажности так называемого неподкупного судейского корпуса, о мошенничестве в различных спортивных состязаниях: договорные матчи, подставные лица в командах, махинации со временем... И многое, многое другое, что незаметно рядовому зрителю.

– И тебя подкупают, Коля?

– А Слесарев хуже других, что ли? – ничуть не смущаясь, признавался Коля, – Покупают и меня. Я тоже продаюсь.



– Почему же продаешься?

– У нас ведь и такса имеется. В российских городах полсотни за игру и полный хозяйский кошт. За рубежом, – он еще в те времена называл зарубежьем Грузию, Армению, Азербайджан, – сотня за игру и тоже полное обеспечение.

А что тогда собой представляла сотня, достаточно привести такой пример: бутылка шампанского стоила три с половиной.

Как почти и все люди, близкие к спорту, Коля потихоньку спекулировал. И когда его спрашивали:

– Милиционера с железной клеткой не боишься?

Он отвечал:

– Непойманный не вор.

– Но мы свидетелями выступим. Сам рассказывал.

Коля хохотал:

– Мало ли что я расскажу. Вас же не сажают за то, что вы врете в газете.

– У нас все правда.

Скептически усмехался Коля:

– Вы пишете не о том, что узнаете, а о том, что вам велят. Прикажут раздолбать Колю Слесарева и – раздолбаете. За что? А вы найдете за что. Вся грязь соберете, чтобы выплеснуть на него.

Ну не так? И потому вы хоть и друзья, а я вас, честно, побаиваюсь. Обижайтесь не обижайтесь, а побаиваюсь.

– А что? – однажды вспомнил об этих словах Коли Леонид Федорович. – Не отомстить ли нам Коле за подобное вольномыслие? Ишь до чего дошел – с критикой нашего брата выступает! Незаслуженной, к тому же.

Был предвыходной день. Выпить не грех. И друзья сочинили сценарий, как вызволить Колю с работы да еще и попросить его привезти пару бутылочек хорошего вина. Поручили провести эту операцию отделу информации и спорта, в шутку называемому отделом физкультуры и спирта.

Майданский позвонил на винзавод и взволнованным голосом передал просьбу приезжего человека:

– Коля, не волнуйся, мы тебя постараемся спасти. Тут тебя хотел видеть нехороший человек. Просил меня связаться с тобой.

– Я спокоен, говори, что случилось? Что за человек?

– Человек из края. Телегу на тебя привез. В жульничестве обвиняет, и он хочет сам разобраться во всем... Старик, ты особо не переживай, поможем. Грудью отстоим. А ты на всякий случай прихвати пару-тройку бутылочек хорошего вина. Приезжий, скажу тебе, с синим носом. Видно, толк в вине понимает. Дрянь, думаю, пить не будет. Приедешь – немедленно ко мне. Звоню из секретариата, потому что приезжий занял мой стол. Сейчас мы переводим его в другой отдел.

– А ты не врешь, Даня? Если захотел выпить, так и скажи.

– Тебе заверенную телеграмму послать?

– Почему же он ко мне не приехал?

– Будешь медлить и приедет. Редактор обещал ему машину. Но тогда спасти тебя будет труднее.

Коля наверняка в чем-то был виноват.

– Передай, сейчас выезжаю. Только подберу кое-какие документы.

– И о главном не забудь, – напомнил Даня.



Кто же должен сыграть спортивного ревизора? Коля знал почти всех сотрудников редакции. А если Федю Малахова, заглянувшего в редакцию "на огонек"? Носом он смахивал на ревизора, язык у него, слава Богу, хорошо подвешен, как спрашивать провинившихся, знает.

Коля примчался с большущим портфелем и сразу к Дане:

– Где он?

– Мы его определили в отдел культуры. Там пока никого. И кабинет поприличнее. Пойдем – представлю тебя.

– Как его фамилия?

А вот о фамилии не договорились, и Даня брякнул первое, что пришло в голову:

– Коленкин. Товарищ Коленкин.

– Что-то я не слыхал про такого.

– В том-то и дело, возможно, новичок. А новая метла, сам знаешь, чисто метет. Идем же – представлю.

В отделе сидел незнакомый человек, перед ним раскрытый блокнот, рядом с блокнотом толстый конверт. Коля вздохнул и подумал: "Неужели такую телегу накатали?" Коля поклонился:

– Здравствуйте, товарищ Коленкин.

– Вы уже и фамилию мою узнали?– Федя даже не улыбнулся. – Хорошо у вас служба безопасности поставлена. Ничего не скажешь.

– Простите, товарищ Коленкин, я ему назвал вашу фамилию,– вмешался заведующий отделом физкультуры и спирта.

Коленкин выразил недовольство:

– Не нужно было торопиться с заочным представлением. Я мог представиться и сам.

Коля спросил:

– Здесь будете разговаривать со мной, или, может, сразу – в наш коллектив, на винзавод.

– Сначала здесь разберемся. Вы захватили с собой документы?

– Кое-что прихватил.

Майданский вышел в коридор и, давясь от смеха, сломался пополам. К нему тотчас подскочили заговорщики. Отпихивали друг друга, пытаясь заглянуть в узкую щель неплотно прикрытой двери. Оттуда доносились строгие вопросы:

– Деньги по назначению тратились? Или, как нам пишут, вы подчинялись лишь одному правилу: что хочу, то и ворочу?

– Только по назначению, товарищ Коленкин. Можете не сомневаться. Все у нас документально подтверждено.

– Но, пишут, вы через своих знакомых фальшивые документы получаете за определенную мзду?

– Что вы, что вы?

– Я призываю к честности, нечего нам, взрослым людям, зря терять время на пустяки.

– Давайте поедем на завод, моя машина у подъезда. На заводе во всем и разберемся. Кстати и производство наше посмотрите.

– За магарыч хотите купить?

– Вы не так поняли, товарищ Коленкин. И в мыслях такого не было, – испуганно воскликнул Коля.

– Хорошо, допустим, поверю. Докладывайте о делах... Кстати, машина у вас собственная?

– Нет, с производства. А собственную еще не приобрел, товарищ Коленкин.



Как бы невзначай Подкатилин заглянул в отдел. Коля покорным мальчиком сидел у стола и смиренно рассказывал о спортивных делах на заводе: какие соревнования проводились в первом полугодии и сколько человек в них участвовало, количество спортсменов, повысивших разряды, как пополняются ряды новых физкультурников в последнее время.

– Вот, если говорить коротко, какие у нас спортивные дела на винзаводе, товарищ Коленкин.

"Приезжий ревизор" строго взглянул на Подкатилина и не менее строго спросил:

– Вы по какому вопросу, товарищ?

– Мне нужен заведующий отделом культуры, кабинет которого вы занимаете.

– Видите же – нет его. Уж не думаете ли вы, что я прячу его под столом?

– Извините, – сказал Василий и медленно пошел к двери.

А Коленкин продолжал допрашивать:

– Цифры, что вы приводите, не дутые? Можно им верить? Все документально подтвердить можете?

– Голову даю на отсечение, товарищ Коленкин.

– Мне голова ваша, не нужна. Мне нужно дело.

Что ответил Коля, Василий уже не слышал. За дверь подслушивающим сказал:

– Перестаньте мучить парня.

Шутники ввалились в кабинет. Коля сначала оторопел, но, услышав смех, стал догадываться – с ним ломали комедию. Так и есть, потому что Даня без обиняков обратился к ревизору:

– Пожалей его, товарищ Коленкин. Он парень хороший. Даже очень хороший. А если б знали, какое чудесное вино делают на их заводе.

Коля, ты не прихватил с собой парочку бутылок? Тогда б проверка телеги пошла б плодотворнее.

Коля смотрел растерянно то на Майданского, то на Коленкина.

– Прихватил.

Малахов поднялся во весь свой рост, похвалил:

– Ну вот, с этого признания и начинать нужно было. А то – ехать на завод, проходить мимо всяческих сторожей и охранников...

Когда все выяснилось, Коля, к которому так и прилипла кличка Коленкин, хотя в роли Коленкина выступал другой человек, закричал:

– Гады, вы так и насмерть человека перепугать могли. А уж заикой сделать как пить дать.

– Живи честно, – наставительно заметил Майданский, – тогда не будешь всякого куста бояться.

– А за что тебя поить буду, если жить стану очень честно?

– На то есть зарплата.

Слесарев покачал головой:

– Вы же на халтурку любите, друзья. А на это моей честной зарплате не хватит.

– Правду говоришь – выпить любим, не отказываемся, но не на халтурку. Сегодня мы честно заработали свой гонорар. Ишь какой спектакль разыграли, – возразил Леонид Федорович, главный режиссер.

– Захотели выпить – приехали б ко мне. У нас для своих вино копейки стоит, – недовольно пробурчал Коля.



Первым в "Кавказской здравнице" объявился бывший шеф крамольной городской газеты Маркелов. Говорили, что за него горой стояли кэзгэбэшники. Подкатилин поинтересовался у него – правда ли?

– Я им помогал, почему бы им теперь не помочь?

– Они тебя и в нашу газету направили?

– Сами они никуда и никого не направляют. Это делают другие люди по их совету.

Пока Маркелов числился беспартийным, но уже работал литературным сотрудником партийного отдела. А восстановят в КПСС – он возглавит этот отдел.

Они разговорились и Подкатилин не удержался, спросил – насколько справедливы слухи о возвращении его на редакторский пост в "Пятигорскую правду", правда ли, что Сашу Леонова отвезли в вытрезвитель из его квартиры?

Он ничуть не смутился:

– Да. Но только не из квартиры. На пороге моего дома спал какой-то пьянчужка, и я позвонил в милицию. Я ж не думал, что Саша нажрется до такой степени. Сам виноват. А я тут ни при чем.

Большую помощь в восстановлении Маркелова в партии сыграл и трижды лауреат Сталинской премии Семен Петрович Бабаевский.

Несмотря на свои три премии, сам он не стал ввязываться в борьбу – осторожный человек был. Уговорил Михаила Александровича Шолохова. Бабаевский повез Маркелова в Москву, где в то время проживал великий писатель.

Михаил Александрович внимательно выслушал и принял близко к сердцу неприятность

бывшего редактора. Стал будто звонить Швернику:

– Вас беспокоит писатель-гуманист Шолохов...

Рассказывал Маркелов, плавно размахивая рукой, будто собирался подкинуть в критический момент козырную карту, но где-то на полувзмахе останавливался, размышляя – не рано ли расстанется с козырем?

Повторив слова Шолохова, он остановился на том самом полувзмахе и подхихикнул с намеком, дескать, писатель-гуманист не совсем был трезв, а ринулся разговаривать с таким высокопоставленным чиновником.

Василия передернуло его идиотское подхихикивание, если и правду он говорил.

– Шолохову и пьяному вряд ли нужно было представляться таким образом. Его весь мир знает. А уж Шверник и подавно должен знать, кто такой Шолохов.

– Хи-хи-хи... Может, я не совсем точно передал его слова, но, хорошо помню, о гуманизме говорилось.

– Это совсем другое дело – разговор о гуманизме... В это поверить можно, раз он защищал тебя.

– А в это поверить можно?– спросил Маркелов и стал рассказывать, как Михаил Александрович сидел на гостиничном подоконнике, болтая ногами в чириках и шерстяных носках домашней вязки поверх брюк...

– И обнимал горничную?– спросил Подкатилин.

– А ты откуда знаешь?

– Этот анекдот я слышал еще до твоего исключения из партии. У Шолохова всегда были недру-



ги, злопыхатели, завистники, сочинители всякой дряни.

– Ишь какого защитничка приобрел в твоём лице Михаил Александрович. А он, небось, и не догадывается об этом. Хи-хи-хи-хи.

– Не нравится мне твой рассказ, старик. На великого писателя льешь мещанскую грязь. А он ведь близко к сердцу принял твою неприятность, твоим заступником выступил.

– Но какая ж это грязь? Что было, то было.

– А мне это даже неинтересно слышать, даже мерзко...

Вслед за Маркеловым в редакции стали появляться один за другим и остальные "лишенцы". За исключением Саши Щекина. Не приглянулся он Попову, во-первых, а, во-вторых, считал его главным виновником в появлении акrostиха. Саша тогда возглавлял отдел культуры "Пятигорской правды".

Подкаталин с Леонидом Федоровичем стали натаскивать его на снимках. Делал он фотографии хорошо – со вкусом, с выдумкой. Работы его часто появлялись в газете под псевдонимом. Однажды редактор заинтересовался автором снимков – он усиленно искал фоторепортера на свой вкус. А узнав, кто автор печатавшихся снимков, взбеленился:

– Всяких проходимцев подсовываете!

– Он такой же проходимец, как и те, кого вы взяли в штат.

– Чем они лучше? – спокойно возразил Леонид Федорович.

Василий поддержал приятеля, папа Шульц тоже сказал свое веское слово. И судьба парня была

решена. Поворчал-поворчал Попов, успокоился, а потом велел пригласить Щекина на переговоры.

Это был последний человек из пострадавших – переговоры прошли успешно.

– Старик, призываю тебя явиться ко мне на всенародное торжество – обмывать строгий выговор с последним предупреждением, – пригласил Подкатилина Иван Александров.

– Восстановили? Поздравляю, Иван.

Дома у бывшего замредактора "Пятигорской правды" собрался солидный люд – прокурор, заведующий здравотделом, два инструктора горкома. Все они пришли с женами. Оно и понятно: Иван был далеко не последним человеком в этом городе, а его жена особенно – прекрасный гинеколог. Знакомством с нею гордились супруги высокопоставленных городских чиновников и их родственницы.

Папа Шульц, тоже приглашенный на необычное торжество, пошутил, озирая стол:

– Валя, знаете, от чего околел Буриданов осел?

– Слыхала, – с недоумением ответила хозяйка. – А почему вы спрашиваете?

– Столько всего на столе – не знаешь, к чему прикоснуться в первую очередь.

– А мы начнем с рюмочки коньяка да с поздравления Иванушки со строгачем, – успокоил папу Шульца прокурор.

С шуточками, прибауточками поздравили, выпили раз-другой, аппетитно зачавкали, закусывая. Утолили первый голод – заговорили, кто о чем. Кто ударился в воспоминания, кто начал читать стихи – почему-то все предпочли Василия Федорова, кто-то запевал старую революционную "Шу-



мел камыш..." Кто-то требовал начинать танцы. О виновнике торжества как бы забыли. Пользуясь этим, Василий с Иваном вышли покурить. Иван признался:

– Вроде бы и ничего страшного, если ты беспартийный. Хорошо работай – обделенным не будешь. А нет же, вроде обделенный ты. Скажи, что дает мне организация? Плачу взносы. Хожу на собрания. Если проштрафился – бьют сильнее, нежели беспартийного. Все время под всевидящим оком – не выпей, не согреши, не лодырничай... Да еще Бог знает, сколько этих "не". Но ты представляешь, Василь, мне это и в тягость и в радость – ты кому-то нужен, кто-то проявляет к тебе живой человеческий интерес, озабочен твоей судьбой.

Подкатилин понимал его. И очень хорошо понимал. Он вступил в партию, потому что ему импонировали коммунисты. Настоящие коммунисты – рыцари без страха и упрека. Он глубоко верил в святость их. Верил в самое справедливое общество, за которое они боролись, не щадя своих сил, а порой и жизни.

Готовясь к серьезному шагу, помнит, мучился несколько дней прежде, чем подать заявление: а вдруг пошлют на Север, на Дальний Восток, к черту на кулички, на опаснейшую работу, связанную с риском для жизни. Сможет ли выдержать? Не струсит? И когда понял – все перенесет, не испугается, не дрогнет – подал заявление.

Что ему дала партия? А вот что. Восемнадцатичасовой рабочий день. Обязанность – браться за самое трудное дело, идти туда, где ты больше всего нужен, работать и жить так, чтобы быть



примером для других. Вот и подписывался на заем на полтора-два оклада. Вот и тянулся на службе из последних сил. Господи, где только ни побывал, работая в "Кабардинской правде"! В каких ущельях и долинах, на каких горах ни оставил своих следов. Скольких людей выручил из беды, надежно помог им! Скольким прохвостам придавил хвосты, сколько разрушил преград, мешавших, как тогда говорили, новому, передовому. А как приходилось добираться до далеких аулов и селений? И на чем? Теперь страшно вспоминать: неужели это был он и никто другой?

Да, это был он.

Про Ивана застолье, должно быть, забыло. И друзья много и хорошо побеседовали, пооткровенничали. Василий поделился мыслью – уйти из редакции. Так дальше работать с бешеным редактором нельзя.

Иван посоветовал:

– Из секретариата рви когти, Василь, а в редакции оставайся. Мы с тобой сделали еще далеко не все, чтобы очиститься от всякой гадости. Мы с тобой еще поработаем. А из секретариата уходи, – снова напомнил он. – И чем скорее, тем лучше... Не пойму, почему терпите издевательства от этого пса? Он же вас за людей не считает. Имею ввиду – за взрослых людей. За мальчишек считает. Только что вам задницы не дерет за непослушание... Папу Щульца понимаю – старику некуда деваться. Получил теплое местечко на курорте, дотянет до пенсии. О чем еще мечтать? И тот иногда взбрыкивает – в солнечную Молдавию собирается... А тебя понять не могу. Другое дело, писать бы не умел, ленился.



– Ах, Иван, Иван, не отпустит меня Попов из секретариата. Там лошадь нужна. А кто вместо меня будет постромки рвать? Папа Шульц?

Слабодухий Витя Петров? Но, чувствую, когда-нибудь придет конец моему терпению. Придет. Я открою тебе секрет – прошение об увольнении ношу с собой. Однажды выведет меня из терпения – я ему в зубы готовое заявление.

– На все, кроме увольнения, разумеется. Вон Леня Епанешников ушел в отдел культуры – нашли ж ему замену? Нашли. И тебя заменят, если Попов захочет.

– Леня – давний замысел редактора,

– Слыхал, он собирается в отпуск. И поработай вместо него.

– А ты меня заменишь? Заом ответственного поработаешь месяц?

Вместо ответа Иван рассказал анекдот о горце, который окончил трехмесячные курсы и пришел в родной райком требовать себе место. Ему предлагали должность бригадира в колхозе, управляющего отделением в большом совхозе, председателя небольшой артели, заведующего отделом в агропроме... Он на все отвечал:

– Нет, наша не пойдет. Наша трехмесячный курсы кончил.

Секретарь райкома предложил еще несколько должностей, но в ответ слышал:

– Нет, наша не пойдет. Наша трехмесячные курсы кончил!

Тогда взбешенный секретарь спрашивает:

– Может, на мое место хочешь?

– Посетитель воскликнул:



– А что, мать твою так? Секретарь-машинистка есть? Есть. А расписаться наша умеет.

– Это к чему, Иван?

– А к тому, месяц вместо тебя я добровольно поработаю. Думаешь, не справлюсь. Должность заместителя крамольной газеты справлял.

А расписаться, мать твою так, наша умеет.

– Ну, как в одной сказочке говорится: ты настоящий друг, Иван.

В запущенном отделе Василий наглядно понял, что такое авгиевы конюшни. Ящики стола забиты жалобами-письмами, сочинительскими шедеврами: фельетонами руководителей очагов культуры, кино- и театральными рецензиями. Тут и стихи, поэмы, рассказы, повести, памфлеты и даже романы – в стихах и прозе... И каждый из авторов ждал и надеялся, что, прочитав его опус в газете, люди поймут, что появился новый гений. Авторы критических заметок своим вмешательством хотели улучшить жизнь кинотеатра, библиотеки, парка культуры, школьной самодеятельности. По утрам они нетерпеливо листали газету, искали на ее страницах свои имена. И не находили. А сочинения их, между тем, спокойненько пылились в ящиках стола заведующего отделом культуры.

Подкаталин знал – в отделе работает временно, мог бы и не лезть из кожи. Но, во-первых, авторы... Когда-то и сам ждал ответов вот так же. Теперь-то свои опусы никуда не посылает. Бес толку. Почти везде сидят Леониды Федоровичи. Ни ответа, ни привета от них не дождешься. А если ответят – или героя перекрестят, или название вещи перепутают, а то и содержание повести или рассказа. Во-вторых, хоть и громко сказано,



чувствовал себя солдатом партии. А это значило: доверили тебе участок – вот и делай на этом участке все самым лучшим образом. Так должна поступать вся многомиллионная армия коммунистов. К сожалению, так поступали не все и не везде.

Темнело. Василий включил настольную лампу – что-то глаза стали слабеть. Стопка ответов, подготовленных им и Арсением Михайловичем, приехавшим помогать очищать авгиевы конюшни, постепенно таяла. Радовался, что работа идет к концу, что никто не мешал как бы беседовать с незнакомыми, немного одержимыми людьми.

Дверь скрипнула, в кабинет вошла женщина с сумкой через плечо. Она что? Не знает – рабочий день закончился? Не в ту дверь вошла? А если не ошиблась дверью – с чем она? Со стихами, с рассказами?

– Слушаю вас, – Василий указал глазами на стул, а сам продолжал вычитывать и подписывать ответы.

И вдруг:

– Вася, ты так зазнался или и в самом деле не помнишь меня?

Поймал ее укоровизненный взгляд, ответил не очень приветливо:

– Извините, вы меня с кем-то путаете?

– Вася, и тебе не стыдно? Я столько ждала этой встречи.

"Кто она? Почему не помню? Еще моложавая, симпатичная, глаза, точно спелые сливы. Откуда мне знакомы эти глаза?"

Она заметила растерянность:

– Не помнишь? Эх, ты-ы! Я Ксения Кузьмина, твоя бывшая одноклассница.

Так вот почему знакомы эти глаза.

– Ксюша, милая, да как же я тебя не узнал?!

Прости, – вскочил он точно ужаленный.

– Я так подурнела, постарела?

– Наоборот, похорошела! Кто знал, что из неказистой девчонки, из гадкого утенка вырастет лебедь.

– Ну ты скажешь – лебедь

– Правду говорю.

– А я признаюсь – любила тебя тогда, в школьные годы. И считала тебя самым красивым из всех ребят. Уж какая это любовь в детстве, но все время вспоминала тебя. И сейчас вспоминаю... В Отечественную служила в военно-морском госпитале. И все время искала тебя среди раненых.

– Как же ты могла найти, если я был очень далеко от твоих морей? Я другой стихии служил.

– Представь себе, однажды однофамильца твоего встретила. И разговаривала с ним, как с тобой. Из-за тебя и ему больше внимания уделяла. Как выдаться свободная минутка – я возле него.

– Сколько же мы не виделись, подруженька?

– Да почти четверть века. После семилетки больше и не виделись. Медицинский техникум, Отечественная. Да и после войны сколько годочков пролетело. Были пацанами, а нынче четвертый десяток подбирается. Бежит времечко, бежит.

– Что ж ты раньше не заглядывала ко мне?

– Боялась опять ошибиться, как тогда, в госпитале. Страшно было. Но все-таки, как видишь, решилась.

– Спасибо.



– Теперь твой черед. Приходи к нам домой. Мы будем рады тебе. Мужу я сказала, куда идти собираюсь. Он одобрил мое намерение и тоже, надеюсь, будет рад.

– Сегодня не смогу, а как-нибудь загляну.

Не хотелось идти в чужую семью, но пообещал – надо выполнять обещание, чтобы не посчитали отказ зазнайством.

Ксенин муж очень подозрительно и неодобрительно рассматривал гостя, что, однако, не помешало им раздавить бутылочку. Задержался недолго. Мало было общего между ними теперешними. Ксения вышла проводить и попросила:

– Мой Ромео сегодня взбесился, прямо ослеп от ревности, черт-те что подумал. Неужели у него не было детской любви? Разве бы я посмела упрекнуть его, поведай он о своем детском увлечении?

– Все понял, Ксения. Спасибо за добрую память. Заскучаешь – приходи. Всегда буду рад тебе... На мужа не обижайся. Его тоже можно понять.

Леонид Федорович вернулся из отпуска, и, заглянув в столы, приятно удивился – старых залежей нет. "Будем собирать новые", – пошутил он.

– А ты, гляжу, любишь с письмами возиться? – спросил он Василия.

– Любишь не любишь, а что делать?

– Ты прав, конечно. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Но, понимаешь, возмущают некоторые "писаря", особенно сочинители. Ни беляса не понимает ни в поэзии, ни в прозе, а себе туда же.

– Надо учить этих "писарей", объяснять – стоит ли браться за перо или не стоит?



– Да-а,– неопределенно протянул Леонид Федорович. А как сказать человеку, если у него таланта нет?

Сам Леня был не без таланта. Еще в пионерах получил на краевом конкурсе первую премию газеты "Юный ленинец". Обладал исключительной памятью на стихи. Говорят, у выпивающего человека слабеет память. Но это наблюдение к его приятелю не относилось. Он был ходячей антологией. Целыми вечерами мог читать чужие стихи. И собственные тоже. Но свои у него были детскими. Для детей писал Леонид Федорович, потому многим взрослым они были не очень и по душе.

К четвертому десятку лет у Леонида Федоровича появилась какая-то болезнь ног, и он ходил раскарякой, как рахитичный ребенок. За столом же сидит – глыба. Особенно за пиршественным столом. Только потеет и то и дело промокает огромную лысину застиранным носовым платком, поправляет очки. Медлительный и величавый.

Мужик он с ленцой, которая в иные минуты превращалась в дремучую лень. Как-то он целый день накручивал телефонный диск, пытаясь дозвониться до приятеля. А приятель жил совсем рядом – стоило только перейти улицу Гоголя.

– Леня,– советовали ему, – да сходи к человеку. Может, он заболел и подойти к аппарату не может. Телефон неисправен, а то и отключен... Да мало ли что может быть?

– Приду, а его дома нет. Чего зря мотаться? Разве ,чтобы поцеловать замок?.

– Записку оставишь в двери – заходил, мол, но не застал.

– Лучше дозвонюсь.



И дозвонился.

По причине слабого зрения в армии Леня не служил. Но служил в областном НКВД на какой-то небольшой, но ответственной должности: выдавал и принимал оружие. По его собственному признанию, не всегда выполнял свои обязанности, как того требовал устав службы. И однажды едва не поплатился за вольность в хранении, приеме и выдаче оружия. Дело закончилось довольно мирно: его просто уволили из органов НКВД.

По природе был он отзывчивым человеком, всегда готовым придти на помощь. Разумеется, иногда не без корысти. Правда, корысть эта была необременительной для спасаемого или спасенного - "полмитрия с закусью". Но необременительная, если ты пришел один и всего единственный раз, а если зачастил в гости, да «со товарищи»... И если то и дело напоминаешь об услуге, оказанной хозяину... Один шеф-повар ресторана, благодетельственный Леней, спасаясь от дружеских посещений, сбежал аж в Магадан.

Леня посмеивался:

– Должно и правда мошенником был. Иначе зачем ему бежать так далеко?

– Леня, а ты не виноват в его бегстве?

– Думаешь, он свои трудовые копейки тратил? Не сомневаюсь – ворованные. Зря я его спасал. Но ведь он клялся, божился, что не виноват. И я поверил.

Пока Василий работал в Ессентуках они часто встречались с Арсением Михайловичем. Но переехал в Пятигорск, стал работать в "Кавказской здравнице" – встречи их стали прерываться. Да

что там прерываться, совсем прервались. Арсений Михайлович говорил:

– Ты служишь теперь в секретариате – и я тебе не помощник, так как ни бельмеса в этом не смыслю. Только мешать тебе буду.

Но случилось, Подкатилина временно перевели в отдел культуры, и опять Арсений Михайлович тут как тут. Опять читал стихи, рассказы, очерки, сочинял ответы, разбирал достоинства и недостатки читательских сочинений.

Очень помог он Василию в расчистке авгиевых конюшен отдела культуры.

Но однажды он не приехал помогать. Василий узнал, что он попал в больницу. Перед новым годом было это. Опять инфаркт. Помчался к нему Подкатилин. К радости, встретил приятеля поправлявшимся. И он уже "топал по палате". Шутил:

– И бабушкины семячки не помогли.

– Но дела к выздоровлению полному, может, заслуга бабушкиных семячек? – отвечал на шутку Василий.

– Надо же, а я браканул это лекарство. Теперь скажу жене, чтобы с полмешка приволокла в больницу.

Василий сказал, как идут дела в отделе, благодарил Арсения Михайловича за помощь. Поговорили они о жизни, о человеческих судьбах, о литературе. Рассказывал Арсений Михайлович о флоте, поделился замыслами о новой своей книге.

Долго беседовали, и Василий уезжал с радостью – приятель поправляется.

Перед новым годом Подкатилин собрался поздравить Арсения Михайловича, пожелать ему полного выздоровления, творческих успехов и



всего самого доброго в жизни. Но отвлек длинный телефонный звонок. Поднял трубку и его как обухом по голове – умер Малиинский. Ночью он возвращался в свою палату и увидел на полу больную – старуха упала, а подняться не может. Арсений Михайлович подхватил ее на руки, сделал несколько шагов в сторону бабушкиной палаты и сам рухнул. Шагреновая кожа, о которой он часто говорил, исчезла.

Больные потом говорили: моряк умер, как настоящий рыцарь, настоящий офицер... Рыцарь-то рыцарь, а сколько бы мог он еще сделать нужного для людей, будь побольше порядка в больницах да и вообще больше порядка в жизни.

В "Кавказской здравнице" о нем мало знали и Подкатилин поехал на траурную церемонию один.

Хоронили Арсения Михайловича в ненастную погоду: сыро, холодно, слякотно. Шел снег и тут же таял. На кладбище грязь – ноги не вытащить. Одним словом, гнилая зима. Совсем неподходящий день выбрал Арсений Михайлович для путешествия в невозвратную дорогу.

Какой-то пожилой моряк, прослуживший с Арсением Михайловичем всю войну на траурном митинге рассказал о мужестве покойного и его бесстрашии в борьбе с врагами, о мужестве и бесстрашии, проявленных при защите чести и достоинства настоящих советских людей, на которых по злему умыслу падало подозрение в измене Родине.

– Именно благодаря ему, капитану второго ранга Малиинскому, – продолжал моряк, – командир нашей подлодки был оправдан от ложного об-

винения и получил высокую правительственную награду. А те, кто напраслину возводили на погибшего в неравном бою, получили по заслугам.

Вместе с другими бросил на гроб горсть мокрой земли, в молчаньи постоял, пока засыпали могилу. Стоял и думал: вот и все, что осталось от живого человека. Ничего ему не нужно, ничего...

За воротами кладбища все уселись в автобусы, привозившие их сюда. Василий пошел пешком – степь была пустынная, унылая, созвучная его настроению. Сбочь дороги по целине идти было легко. Припомнился последний разговор с Арсением Михайловичем, его монолог:

– Ты знаешь, Василий, а смерть если уж на то пошло – самая справедливая дама на свете. Для нее все равны – генсеки, миллионеры, писатели, члены политбюро, аграрии и пролетарии. Никто от нее не откупится... А иначе б в мире остались бы жить одни подонки.

Все правильно. Но как же тяжело лишаться друга! Почему-то вспомнил первую встречу с Арсением Михайловичем возле редакции и подумал: как же можно ошибиться в человеке с первого взгляда.

Но время шло. Плохое забывалось. Начались счастливые деньки. Наконец-то не местные сотрудники редакции получили квартиры. Раскидали их по всем городам-курортам. Даня Майданский, художник Володя Бекетов и Василий обосновались в Ессентуках, Леонид Федорович с Лукашом – в Кисловодске, Иван Ященко – в Пятигорске.

Перевезли семьи. Но Майданский оставил отца в Черкесске охранять вещи. Соседи накатали на него жалобу: дескать, сын не взял престаре-



лого отца, желая сохранить за собой черкесскую квартиру.

– Плюнь ты на это, Даня, – посоветовал Подкатилин.

– Как плюнешь? Вызвал вчера Попов, прочитал мне донос и приказал немедленно забрать отца. Говорит: сторожа нашел, его самого сторожить надо.

Майданский выполнил распоряжение редактора, перевез отца, но теперь мать насыпалась на сына:

– Даня, что-таки за человека ты привез?

– Это ж твой муж, мама!

– Какой уже муж. Даня? – возмутилась старуха.

Совсем выжила из ума. Провалы памяти, боязнь всяких жуликов, воров. Патологический голод. Только проснулась – к холодильнику, к плите, к кастрюлям. Ела все подряд, что попало.

Даня хлопал себя по бедрам, словно петух крыльями, жаловался:

– Боже, что за наказание? Страшно одну оставлять дома.

Он не знал, что старухины дни были уже сочтены. Однажды она не проснулась. В день ее похорон Василий забежал к приятелю выразить соболезнование. Старуха лежала в гробу. Возле нее толклись несколько бабушек-соседок. Бродил по комнатам и изредка заглядывал в застывшее лицо покойницы вдовец и, видимо, тоже не знал, что за женщина лежала в гробу. Сам Даня приткнулся к подоконнику и что-то "строчил". Хотя "строчил" для его почерка не подходит. Скорее – что-то изображал каракулями.



Василий подошел к нему, чтобы выразить сочувствие, но он махнул рукой – пустое, мол. И попросил подождать: он срочно дописывал репортаж.

– Обойдемся и без твоего репортажа, – возмутился Подкатилин, – Занимайся похоронами.

– Как обойдетесь? Репортаж в плане.

Что это, подумалось, высочайшая дисциплина или жадность – боязнь выпустить из рук уплывающую четвертную?

Но раз просит человек подождать – надо подождать. Взял наспех нацарапанное сочинение и вздохнул: над словом старик почти не работал, а в этом репортаже тем более. Одни штампы, словесные клише. Все это было удобоваримым, удобочитаемым, но без журналистских находок.

У него была мрачная жалоба-шутка: мы гибнем, которую он повторял и к делу и не к делу.

– Вася, мы гибнем, я уже ни с чем не справляюсь. Все запустил.

Даже пьянку. А это дальше некуда.

– Ну, если запускаешь пьянку – считай тебе скорый каюк.

– Вру, как ее запустишь? Вчера приехал на вокзал, а электричка хвост показала. Что делать? Возвращаться на работу? Нет смысла – следующая электричка через полчаса. А как скоротать время? Выпить кружечку пива. А где кружечка, там и вторая. Хватишься – и еще одна электричка проскочила. И еще одна, и еще одна... А там уж и водочки хлебнешь с досады.

– Но, бывает, мы с работы в точности к электричке приезжаем. Обходимся же без кружки пива.



– А это еще хуже. Как-то вечером прикатил до-
мой совсем рано, совсем свеженький, а благовер-
ная чуть не в обморок. Что случилось?

Заболел? С работы уволили? Вот до чего дово-
дим трезвостью своих женушек.

– А вчера перепугал Ольгу?

– Нет, сам перепугался – думал, сердце остано-
вится. Всю ночь вспоминал о вчерашнем мальчиш-
нике. Коньяк, первосортная водка, чешское пиво,
закуска – я тебе дам! Я же как дурак пил лимонад и
ел мороженое... А когда теперь такое приглашение
повторится?

Приглашения повторялись – плохо, что Да-
вид Цальевич относил их за счет своего обаяния,
не угадывал, что в каждом таком угощении была
цель – либо корысть, либо желание напечатать
свой опус, либо ввести власти в заблуждение.

Так однажды он напечатал заметку "Москвич"
за тридцать копеек". А через пару дней заведе-
лом передает приглашение Василию:

– Зовут обмывать выигрыш.

– Кто?

Он называет фамилию и должность приглас-
яющего. Оказалось – заведующий производством
ресторана.

– Ох, Даня, Даня, нельзя же быть таким нераз-
борчивым, ты возможное воровство его оправдал.

Папа Шульц встретил Василия причитаниями:

– Не могу, не могу! Добьет он меня прокляты-
ми заголовками, рамками, концовками, верстками.
У нас выпускающий есть или нету?

Почему в таком случае все претензии ко мне?
Сам прополз через типографские закоулки и мне
становиться на колени и ползти? Поставили не ту

линейку. И что? Контрреволюционный переворот совершили? Не ту рамку поставили – предательство? Не тем шрифтом заголовков набрали – ославились на всю Европу? Да пусть они погорят эти линейки, рамки, концовки! Он довел меня до сумасшествия. Я перестал нормально читать газеты. Я не понимаю прочитанного, я ничего не вижу в этих газетах, кроме линеек, концовок, рамок... Будь они прокляты. Читателю нужно не то. Читателю нужен интересный фельетон, зубодробительная статья, захватывающий очерк, сногшибательный репортаж, свежие новости...

– Так шеф же сейчас болеет, чего волнуетесь?

– Завтра-послезавтра вернется – и опять все сначала. Да он и теперь задержал по телефону.

Отвел душу и тут же забыл о разговоре с Поповым, рассказал анекдот к случаю.

– Двое евреев принимали нарзаннные ванны в одной кабине.

Мойша в соседней ванне неожиданно отдал Богу душу. Живого, Натана, спрашивают: Что же ты, Натан, не помог человеку? Ведь он, должно быть, кричал, звал на помощь? Кричать он не кричал, отвечает Натан, но твердил одно и то же: ой, тяжело мне, ой, тяжело мне? А ты что же, спрашивают? А я подумал: тебе тяжело, а кому сейчас легко?

Завидный характер у папы Шульца.

Позвонил Попов:

– Покажите, пожалуйста, первую полосу.

– Вернется курьер, пошлю, – ответил Василий.

– А вы не можете зайти? Может, редактор уже концы отдает, вам дела нет до этого?

– Я думал, вы уже забыли о моем существовании.



– Хороших людей не забывают. Да, в магазин загляните по пути. Не забудьте.

– Что купить?

– Идете к выздоравливающему и спрашиваете?

– Понятно.

Попов полулежал на диване. Морщась, приподнялся, расстелил полосу на журнальном столике, стоявшем рядом, сделал на полосе несколько пометок синим карандашом:

– Уберите. Ваш папа Шульц неисправимый человек. Говорил же ему, как надо набрать передовую, какие рамки поставить. Нет, он все по-своему. Хотя виноват-то не он, виноват выпускающий. Но выпускавший ответственно секретарю подчиняется. Хотя Валентин Исаакович разбирается во всем этом, как козел в библии.

– Баран, – уточнил Подкатилин.

– Ну, баран вроде оскорбительно, а козел поинтеллигентнее.

Василий свернул полосу в трубку и достал из портфеля бутылку "Московской".

– У вас не хватило денег на "Столичную"? Или боялись, что не субсидирую вас?, – поморщился Попов.

– Разве я ваших вкусов не знаю? Просто "Столичной" не было в магазине.

– Скоты, даже приличным пойлом человечество не могут обеспечить.

Крикнул в соседнюю комнату:

– Оля, сообрази закусить, видишь гость пришел?

– Миловидная женщина выглянула в дверь:

– Тебе ж нельзя, Леня.

– Есть нельзя?



– У вас же без выпивки не обойдется.

– Конечно, не обойдется. А почему бы и не выпить? Завтра выхожу на работу, надо спровоцировать болячку. Вылечился так вылечился. Не вылечился – буду продолжать лежку.

Она сожалеючи улыбнулась и ушла в кухню. Леонид Васильевич бурчал ей вслед, но ворчание было скорее рассчитано на гостя.

– Водка – первое лекарство от всякой заразы. На фронте она спасала от всего, в том числе и от радикулита, и от воспаления легких, и от загнивания ран – словом, от всякой заразы. Правду надо сказать, слабых людишек она превращала в горьких пьяниц. А мы с вами разве слабые люди? Нет. Значит нам ничего не угрожает.

Опорожнили принесенную Василием бутылку. Хозяин потребовал другую из своих запасов, едва гость собрался сбежать в магазин. Разговорился шеф. Рассказал много интересного о себе. Попов – фронтовик, и не просто фронтовик, он был заместителем командира артиллерийской бригады. Вот откуда у него выправка, приказной тон, умение отчитать виноватого.

Поинтересовался работой гостя в отделе культуры. Чтобы не подводить приятеля, Василий не стал рассказывать о залежах писем, тем более, что в ящиках стола наведен порядок. Рассказал о встречах с интересными людьми, с интеллигенцией курорта – артистами, библиотекарями, музыкантами, художниками. И упомянул о нескольких письмах – жалобах на мздоимство врачей. Уходя из отдела, передал эти письма в курортный отдел.

– Я знаю о жалобах, обличающих мздоимство врачей. Но как проверишь? Однако, обдумываю



одну акцию... Знаю по головке за это не поглядят. Но, говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Расстались совсем друзьями.

Василий отнес полосу с пометками в редакцию и надо же – встретился с папой Шульцем. Так поздно на работе он никогда не бывал. В шесть часов его как ветром сдувало. А тут, возвращаясь из театра, надумал заглянуть.

Увидел своего подвыпившего заместителя:

– Ты где ходишь? Телетайп предупредил: ожидается важное правительственное сообщение... Да ты никак выпивши?

– О телетайпном предупреждении знаю. Меры приняты. Но сегодня я отработал свое и у меня нерабочее время, коим я вправе распорядиться по своему.

Папа Шульц пухтел:

– Ты совсем распустился, парень.

Подкатилина дернуло ответить:

– Пример, что ли, не с кого брать?

Не надо ему, нетрезвому, было говорить эти слова. Но уж очень был зол на Шульца: тянешь, тянешь каторжную поклажу – дома почти не бываешь, детей не видишь, а ему "распустился".

Папа Шульц обиженно пофыркивал:

– Ладно, мы с тобой завтра поговорим. На свежую голову.

– И поговорим. Не пугайте. У меня тоже есть что сказать.

Редактору "провокация" не помешала выздороветь. На работу на другой день он пришел. Первое, что сделал – вызвал Подкатилина. Сердитый – туча тучей. Дверь настежь, окна распахнуты.

"Наверное и он хватил вчера лишнего и ему плохо, как и мне", – подумал Василий.

Попов тер зажигалку, пытаясь прикурить, но она не зажигалась.

– У вас спички есть? – спросил редактор.

– Не курю, после вчерашнего бросил, Леонид Васильевич. Советую и вам сделать это.

Шеф неожиданно вывернулся:

– Курить бросил,.. Лучше бы вы пить бросили. Хейстер сказал, что вы вчера пьяным на работу приходили. И еще гадостей наговорили человеку. Вы ведь совсем его не знаете.

– Теперь, после его доноса, хорошо узнал.

Все также сердито Попов продолжал:

– Небось и доложили, где надрались?

– Не хватало докладывать... Да и не очень я надрался...

– Видел сам.

– Тем более... А чтобы вы больше не страдали из-за меня, вот заявление. – И положил перед ним заранее написанную просьбу об увольнении, только дату поставил.

– Что это?

– Там все написано. Не могу больше. Тянешь, как вол, тебя ж все время стегают да еще и укоряют, что напрасно корм жрешь,

– Но вы не знали, зачем я вас вызываю. Когда успели написать этот "репорт"?

– Написал про запас. Ждал, когда чаша моего терпения переполнится. Сегодня она переполнилась.

– Сгоряча ничего делать не нужно. Вы горячий, я – не менее. Но оставьте заявление. Подумаем об этом с вами вместе.



– Я уже все обдумал.

Сердитый шел из редакторского кабинета. На встречу ребята.

По коридору с большущими чемоданами тащились Иван Александров и Андрей Серых.

– Куда, ребята, – спросил Василий, – В загранку что ли с такими чемоданами? Военные такие чемоданы называют "мечтой оккупанта"

– Извини, старик, спешим на московский.

– Хватились. Он этим временем из Москвы приходит.

– Вот и хорошо. Нам это и нужно. Нам в Ессентуки.

И тут Василий догадался, в чем дело. Шеф таким образом решил выловить взяточников. План, как он вчера ему рассказывал, когда они чуть ли не друзьями были, такой: двое молодцов садятся в московский поезд, а в Ессентуках высаживаются, попадают в объятия маклеров. Те проведут их тайными тропами к медицинским светилам, которые работают с маклерами, судя по письмам, заодно.

Как потом выяснилось, Попов сделал безошибочный ход, Все произошло точно так, как он и предполагал. Маклеры на вокзале подцепили несопротивляющихся ребят, и курортная одиссея началась.

Ивану, здоровяку, с румянцем во всю щеку, с желудком, который мог переварить непрожеванные гвозди, эскулап внушал:

– Донельзя запущен желудок. Ты, брат, здоровяк только по виду, а что делается во чреве твоём, не знаешь, потому и не чувствуешь, чем все это может закончиться... Благодарю Бога и маклера, что

привел тебя точнехонько ко мне. Уж я за какой-то месячишко капитально отремонтирую твой желудок. Я тебе через месячишко и водочкой позволю побаловаться. Обязательно поставлю тебя на ноги, дружок.

– Спасибо, спасибо, Иосиф Борисович, ведь совсем истосковался по ней, злодейке, – Иван с завидным вниманием слушал строгие предписания эскулапа.

Тут же были выписаны рецепты, назначены процедуры в курортной поликлинике. Разумеется, не за так.

Андрюха Серых, несколько болезненного вида, платил по другой таксе. Дороже. Хотя он только что вернулся с курорта. А болезненный вид у него – от переживаний после трудного развода с женой.

Вечером "курортники", как и было условлено, заглянули в городской отдел ОБХСС. Потом поделились впечатлениями о курортных страданиях в редакции. Попов посмеялся над их рассказом и приказал :

– Срочно садитесь за репортаж!

Что делалось, когда их репортаж напечатали! Газету рвали из рук, буквально зачитывали до дыр. В редакцию непрерывно звонили: хвалили за смелость и находчивость, иные ругали за мерзкий репортаж, позорящий советскую медицину и прекрасных врачей, грозили судом, сообщали новые подробности жульничества, утверждали, что газета только верхушку айсберга зацепила:

– Копайте глубже, ребята.

Прочитали репортаж и в крайкоме. Редактора вызвали на секретариат. Попов стоял навытяж-



ку перед высоким собранием. Не возражал и не оправдывался, когда ему втолковывали:

– Что вы там выдумываете, Попов? Вам писать больше не о чем?

Зачем тащите в советскую газету методы желтой прессы?

Обошлось без оргвыводов. Попова только пожурили. А подписка на газету выросла вдвое.

Однако Леонид Васильевич очень переживал, когда ему сообщили, что у одного героя репортажа случился инфаркт, у другого – инсульт. Переживания свои редактор скрывал, людям, оправдываясь, говорил:

– Слаб в коленках – не жульничай, не мечтай о шампанском, когда желудок не принимает питка... Нервы у них... А государство обкрадывать, обманывать? Хотят въехать в рай на чужом горбу? Для этого у них нервы годятся?

Беседа в крайкоме бесследно не прошла. Как мухи на мед в редакцию ринулись корреспонденты центральных газет, аккредитованные в крае. Кто поздравлял и редактора и авторов с хорошей выдумкой и хорошим исполнением, кто негодовал – вывели, мол, из строя хороших докторов. Иные по просьбе идеологического отдела дотошно разбирались, кому пришло в голову такое, интересовались подробностями, оставшимися за газетной полосой.

Попов отвечал:

– Я редактор и я за все отвечаю. Номер в печать подписан лично мной.

Мужики из центральных газет – тертые калачи, к тому же юмористы и все понимающие люди:

– Молодец, Леня, – похваливали редактора. – Теперь и нас своими подписчиками сделал. Так и держи А на то, что тебе сказали в крайкоме, наплюй и забудь. "Желтая пресса". Да они не за тебя переживают, за свою шкуру трясутся. Они боятся, что и в их "колхоз" твои лазутчики проберутся, взбаламутят все.

Лишь корреспондент "Известий", огромный мужик с тонким бабским голосом, с розовыми плотоядными губками собирал, как он выразился, компромат на Попова, тщательно искал его неверные шаги в работе. Он старательно выписывал какие-то цитаты из подшивки, из писем читателей. Беседовал тет-а-тет почти с каждым сотрудником. А Подкатилина даже хотел заставить подписаться под отказом отвечать на его вопросы.

– Извините, – ответил замсекретаря. – Но если бы мне были бы и известны подробности, как задумывалась акция, я ничего бы не сказал. Это редакционная тайна. Как корреспондент столичной газеты вы должны знать об этом.

Известинец неприлично почистил нос мизинцем, оглядел палец, вытер его клочком бумажки и сплюнул в корзину (неужели хотя бы жена не отучит его от дурной привычки?) и выжидательно посмотрел на Василия;

– А что скажешь о Попове, как о редакторе? Как о человеке?

Говорят, он по утрам секретариату экзекуцию устраивает? Ты будто заявление об увольнении подал?

– Подал. Но это к качествам редактора никакого отношения не имеет. Редактор он превос-



ходный. Я многому у него научился. А экзекуции... Как без них, если он почти всегда прав.

Между тем трещина в отношениях Василия с Поповым превратилась в пропасть. Осенью он ушел из газеты.

Позвонил приятелю на телестудию:

– Тебе нужны литературные рабы?

– Рабы не нужны. Мы с рабством покончили навсегда... А ты неужели рассчитался? Почему спрашиваешь?

– Трудовая книжка в кармане.

– Тогда бегом к нам, ждем тебя, старик!

Попрощался Василий со всеми – иные жалели, иные плохо скрывали радость от прощания. Попов признался, что его отчитала мамаша, старая учительница: "Леня, Леня, какими беззаветными ребятами раскидываешься... Ты же сам рассказывал, что Подкатилин был предан газете до глупости,.."

Василий улыбнулся:

– Жаль, что не она была у нас редактором.

Леонид Васильевич пропустил шутку мимо ушей:

– Думал, горячка ваша пройдет. Не прошла. А пройдет – возвращайтесь. Место для вас всегда найдем.

– Благодарю.

Хотел, чтобы сердито получилось., Но сердито не вышло. Побежал торопливо по ступенькам вниз, будто боялся, что кто-то погонится за ним и вернет назад. И хорошее, и плохое, и радостное, и омерзительное было прожито в конторе. Но оказалось – теперь он никому не нужен.

А приживется ли на студии?

Все мы человеки

*Мне отмщенье, Азъ
воздамъ,
говоритъ Господь.
Второзак. 32-35.*

Бытие

Ноги у Марка отрезали по-
степенно: сначала палец, потом
другой, потом ступню, голень,
потом все начиналось сначала на
другой ноге. Так что он, в конце
концов, оказался вовсе безногим
и путешествовал из коляски в
коляску до того экипажа, в кото-
ром его свезли за сельцо Листо-
падово, дорогая моя пропажа.
Во всем виновата была гангрена
или другая какая-нибудь ползу-
чая болячка, которую он запо-
лучил в гражданскую на одном
из протяжных южных фронтов
за счастье народа. Во всем, кроме
самой гибели, последовавшей от
подлых рук предателей и найми-
тов, а правильной, от рук слабых
и трусливых людишек, готовых с
равным рвением служить любо-
му начальству, хоть бы и фашист-
скому: нечистый – нечистому. Но
об этом – в дальнейшем.

А до того Марк жил хоть и без
ног, да при удаче, как говорится,



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Проза





в мире с людьми и даже с гражданином Ляханьским, сельским милиционером и будущим начальником полиции местечка. Жил и трудился Марк на благо народа в качестве зав. производством в системе общественного питания, и, стало быть, удача опять-таки улыбалась ему своим спокойным и полнокровным лицом.

Частенько к нему наведывались соседи, в том числе и милиционер Леха Ляханьский (хотелось бы узнать его теперешнюю послевоенную судьбу) с супругой, так что считался личным другом, учился у него грамотному политпросвещению, да и галушками или там горилкой не брезговал.

Супруга Лехи также питала дружеские чувства к марковой супруге Маше, Марии, Мусе, и, между прочим, охотно перенимала у нее опыт белошвейного мастерства, а также некоторые личные рецепты приготовления пищи (в частности, как изготовить рыбу без костей, особым образом нафаршированную, или под маринадом).

Да и другие чисто женские секреты любили они обсуждать, сидя за чашкой чая в просторной горнице Маркова дома, возведенного на честные трудовые сбережения собственными его руками в ту пору, когда скакал он еще на обеих своих ногах, сам себе пан, сам – дурень, сам – патриарх.

Душа в душу, одним словом, жили Марк, и село, и будущий дезертир и полицай Леха Ляханьский, их супруги и дети (был у Марка с Марией сынок Ицка). И никаких стычек, мелкой зависти и злобы взаимной не наблюдалось в сельце Листопадово, никакой национальной розни не допускала советская власть в бывшем местечке, как и за пределами на безграничных просторах нашей общей родины, основанной (как упрощенно трактовал Ляханьский

на занятиях по политграмоте) на великом объединительном принципе: все мы люди, все мы человеки. Попросту не было у Марка причин для стычек с соседями-однополчанами: ни кухни общей, ни двора, ни лаза и никакого иного сглаза...

Пленение

Зловеще полыхнул вдали год тысяча девятьсот тридцать девятый.

Затаились, прижали уши, напряжинились, внимательно приглядываясь друг к другу, два зверя – волк и волкодав. – Граница, год тысяча девятьсот сороковой.

Тысяча девятьсот сорок первый начался, очень возможно, что в тысяча девятьсот тридцать девятом, или, даже, еще раньше – в тридцать седьмом. Но отмечали его выпивкой и тостами-речами зимой, после того, как, наконец, оборвали все листки с календаря за 1940 год.

На елке, обязанности которой привычно выполняла пушистая сосенка-подросток, трепетали тоненькие свечи-надежды. А снаружи, на неоглядной папиросной корочке земли полыхали тысячеверстные холода.

Светились холода зеленым лунным свечением, и города, и села, и бывшие местечки, а теперь поселки городского или сельского типа, вмерзали в них, как разноцветный, пылающий электричеством мусор – в неподъемный стеклянный слиток, что положила страшная торговка-зима на своей белой тряпице посреди всемирного черного рынка-толчка, – и разбить, растопить тот слиток нет никакой силы-возможности.

Но и эти холода с трепетными мирными бабочками новогодних елок внутри отошли в мечтатель-



ное отдаление, умерли, смешавшись со жгучей пылью смертельного лета 1941. Все – все это, простое, живое, прекрасное, было давно – раньше, некогда, никогда почти.

А теперь мотоциклисты–автоматчики, все в пыли, с черными от усталости и выхлопных газов лицами, как дьяволы, вылетели откуда-то сбоку, завизжали психическими тормозами, юзом развернулись в лицо черно-тряпичному потоку беженцев.

– Цурюк! – махнул серой перчаткой мотоциклист. И поток застыл, как мазут на холоде. – Цурюк! – И над шапками, платками, капелюхами, над пропыленными простоволосыми головами людскими зашныряли юркие ласточки смерти – автоматные очереди.

Толпа размякла, растопилась, забулькала в стороны, расползлась по степи, хлынула назад к оставленным хатам и стойлам.

– Кто его знает, может, и к лучшему.

– Грець його знае, можливо, це буде й краще.

Вот и не успел Марк уйти: куда бежать-то безногому.

Вот и на семье повис гирей неподъемной.

Вот и вернулись...

Предательство

Вернулись – а там уже большой барак из-под склада “Заготзерно” обнесен колючей проволокой – “Гетто”.

В остальном бывшее местечко наружно мало изменилось. Немцы почти что и не появлялись: не настачишься ж отборных фашистов на всякое-каждое заштатное местечко. Один-другой разве что нагрянет – да и дальше покатили по своим фашист-



ским делам. Потому все должности и мероприятия, которые по штату положено немцам совершать, исправляли местные люди, свои, отщепенцы нашего строя во главе с начальником полиции, бывшим милиционером Лехой Ляханьским.

Леха, в темно-синих галифе с красным кантиком и в черной застегнутой под горло косоворотке... Нет-нет, впрочем, синие галифе – таинственным полуночным воспоминанием – лежали на дне сундука под шевиотовым воскресным костюмом, под исподними рубашами, под горой заспанного многолетнего белья, а может, просто под сердцем (если оно у него все ж таки было)... А сам Ляханьский был тогда в ватных стеганных штанах, заправленных в тупорылые хромовые наваксенные сапоги, и в вышитой, застегнутой под горло косоворотке под новеньким ватникам. Впрочем, ватник в тот раз валялся на лавке. Леха только что побрился и не успел еще стереть остатки мыла с реденьких бачков. Стоял, расставив ноги, по привычке сутулясь из-за длинного по тем временам роста. Туго, по-хозяйски, упирался в светлый, дожелта омытый пол бывшего маркова дома новоиспеченный начальник полиции местечка Листопадово. И в маленьких недопрорезанных глазах его теплилась мутная молочная голубизна, продернутая красными жилками от вчерашнего перепоя.

– Что ж, кум, ты не беспокойся. Или уж мы не друзья допотопные? Или не человеки? Или уж и не власть я здесь? Нет уж, хочь я и маленькая пешка против немецкого начальства, а постою за тебя всеми силами. И живи ты себе у своем гетте, не беспокойся. Вот тебе слово мое твердое, что ты с твоей жинкой и пацаном последней очередью поедете на переселение. Ну, а больше не в моих силах-



возможностях для тебя сделать, потому как, сам видишь, хочь я и большой человек теперь, а супротив закону не пойду... И потом еще жинке своей укажи, чтоб она до моей жинки не стремилась захаживать, потому – не положено. А ежели что там или как, то я самостоятельно вызову... и все такое протчее...

– Я что ж, ничего я, – отвечал Марк, сидя на полу у порога бывшей своей горницы. – Я ж понимаю, что ничего нельзя: служба... Дружба дружбой, а служба – сама по себе. Я ж не кум перед тобой теперь и не друг, а бывший красный гвардеец и партиец, мастер общественного питания Марк Босой, жид. И нет мне жизни, Леха Ляханьский, мельницкий сын, при новом режиме... В моем доме... Искарיות! – Марк захлебнулся вдруг этим последним словом. Он попытался подняться на протезы, вцепившись в косяк двери одной рукой и в цепочку стенных ходиков – другой. Поднялся – широкий, грузнобагровый, с белыми, продырявленными черными глазами. В тесном шерстяном кулаке его лопнула цепочка прадедовских ходиков и вслед – глазуревые двенадцать циферок бросились ему в лицо, отпечатываясь в кровь. Эх, протезики – протезы! Рухнул Марк почерневшим от яростной крови лицом на им же самим выструганный и подогнанный – лесина к лесине – пол прямо к примерзшим угольным сапогам полицая. И черное бессознание воткнулось занозой в красное желание убийства и пожара. Эх, кровь, кровь! Жжет – не поджигает...

Оторвал Леха один сапог от пола, шагнул через тело Марка. Оторвал другой, переступил, зашагал тяжело, скрипуче из горницы – распорядиться. Мутно, тошно было на душе у Лехи, как после пьянки беспробудной. Что прокутил, что пропил он? Э, да уж жизнь да душу растряся, дьяволу позало-

жив, по друзьям ли вздыхать!? Все равно не жилец Марк. Всем он поперек – и ему, Лехе, и новому порядку. Значит, шагнул не Леха Ляханьский через тело бывшего кума, а новый порядок раньше него здесь прошагал. Одно только смущало все еще Леху и наполняло душу его мраком и блевотиной – то, что его, лехиными сапогами прошагал здесь новый порядок. Ну да что уж там, первый он, единственный, что ли? И что там какой-то жид Марк! – Миллионы гибнут. Миллионы! Что стоит человек? Что стоит один безногий человечек? А ничего. Пыль. Прах. Навоз. Лишний рот. Пожиратель. Дармоед. Стало быть, Леха и прав, пожалуй. Нужно скрепить свое сердце и очистить землю и местечко от дармоедов, которые только хлам земли, которые Христа предали, и загадили все на свете своим похабным существованием – лучшие места захватили, в кумовья, в друзья влезли... – В таких, или примерно в таких размышлениях, добежал Ляханьский до полицейской хаты и распорядился убрать тело марково и очистить пол от кровавых пятен. Считал он, что кончился Марк. Но ошибся Леха в тот раз. Это была еще не смерть.

Смерть

А ночью Мария висела на шее Марка, смачивая его добротный ватник слезами. «Нет-нет, – давилась она собственным шепотом (не дай Бог, услышат посторонние! Хотя какие ж они посторонние, когда день, или год, или всю жизнь, все века на земле они – свои же соседи по гетто!) – Нет-нет, не поджигай, пожалуйста, гетта! Я прошу тебя не за себя и не за них всех – за сына нашего Ицку прошу. Ведь, если ты запалишь амбар, то они всех перебьют, а



для нас казнь самую особую и специальную выдумают. А я ведь одного только страстно желаю, одного прошу – чтобы нам всем одинаковую легкую смерть принять, понимаешь!...».

Нет, не понимал ее Марк. Стремился выполнить свой отчаянный замысел. Но горячим камнем всю ночь висела на нем жена его Мария, препятствуя действиям и отнимая припасенный трут с кресалом. И не было у него сил сорвать с себя и отшвырнуть этот камень.

Вот и пришлось Марку с семьей однажды поутру грузиться на отремонтированную после нанесенного при отходе наших войск ущерба полуторку, чтобы направиться в места, якобы, для проживания нацменов еврейской национальности. А на самом деле повезли их к ярыгам и оврагам у сел Листопадово и Разливы бывшей Кировоградской области (где областным центром являлся Кировоград, бывший Зиновьевск или еще более бывший Елисаветград).

Немцы в тот раз транспорт не сопровождали, а передоверили исполнение своих гнусных преступлений, как обычно, наймитам из местных.

Там-то, в колодце у Листопадова, и завершил Марк Босой свой героический путь бывшего красногвардейца. Там снял он свой довоенный, возможно, несовершенный протез и долбанул им одного из бывших шоферов системы общепита, махрового дезертира, по башке, доведя его до бессознательного состояния. Там-то и откусил он палец другому шоферу, тащившему его в яр. И хотя с ним окончательно справились, избив сапогами и прикладами и отломив его второй протез, – последние минуты свои встретил Марк достойно, проклиная и оплевывая кровью и собственными выбитыми зубами

бывших односельчан, предавшихся врагу и ставших старательными исполнителями уничтожения наших граждан.

Побег

Но всего этого о своем горячо любимом муже Мария не узнала. И виной тому была ее кошачья жизнеспособность и изворотливость, а также ее всеобъемлющая любовь к сыну Ицeku, как и полное презрение к собственной возможной гибели, свойственное лишь любви и отчаянию.

Была осень, глубокая, как грязь, которую месили ногами грузившиеся на полуторки семейства. Плач, вопли и матерня висели над гетто. Шоферы нервничали из-за предстоящего пути по распутице. Им не терпелось прибыть к месту, разгрузиться и поскорее вернуться к своим домашним очагам, к ужину, самогонке, теплу.

Поэтому моторы выли и напрягались всеми своими надорванными лошадиными силами.

Говорят, счастье и удача сопутствуют иногда даже самым смертельным и нестерпимым обстоятельствам. Надо только найти в себе решимость для сопротивления.

Та полуторка, в которой увозили семью Марии вместе с другими на казнь, увязнув в начале пути, так и плелась потом в хвосте колонны. Заметив это, Мария незаметно подтолкнула Ицeku к борту, почти что столкнула его с машины. Ицек прыгнул, но, достигнув земли, поскользнулся и упал. При этом он, видимо, вскрикнул. А может, шофер услышал резкий всплеск грязи и остановился проверить, что там выпало. Во всяком случае, он выскочил, выковырял Ицeku из колеи и, дав ему подзатыль-



ника, швырнул обратно в кузов. Машина нудно побуксовала, орошая окружающее фонтаном грязи, и пошла, то дергаясь, то снова застревая, как старая измученная лошадь. Она-то пошла. Только Ицэка в кузове все равно уже не было, потому что не успел шофер стронуть полуторку с места, как Мария уже столкнула сынишку за борт, в ледяную спасительную грязь.

Конечно, всегда найдутся дотошные и внимательные читатели, которые по праву зададут вопрос: «Куда ж глядели конвойные?». Замечу для этих читателей, что конвойных не хватало в условиях массовых репрессий, да и те, что были, глядя на непогоду, перебрались в кабины, уговорившись наблюдать за впереди идущими машинами и твердо надеясь на дисциплинированность и робость пассажиров, на их ясное понимание, что бегство все равно их к хорошему не приведет, и на свое твердое обещание, чтоб “ не рыпались, бо хуже будэ”. И все же, если недоверчивые читатели примутся сомневаться и усмехаться, напомним им, что, как рассказывают, даже в больших лагерях смерти большинство заключенных шло в крематории без сопротивления и беспорядка, покорно и организовано.

Вот тут-то и проскальзывает догадка, что все дело в надежде. То есть, когда они встретились с таким вот всеобъемлющим и, по их мнению, бессмысленным убийством, им легче было не поверить в гибель, хранить слабую надежду на неожиданный поворот событий: что все рассеется в одно прекрасное мгновенье, как обычный кошмарный сон. Вот в этой-то надежде и заключается моя догадка. Потому как я на собственном опыте выяснил, существуют две формы надежды (хотя, может быть, их не две, а гораздо больше): одна, которая укрепляет

силы и решительность человека, и другая, которая связывает и препятствует попыткам что-либо изменить в ходе событий, дескать, перетерплю, а там, глядишь...

Не было у Марии никакой надежды. Потому-то она и сбрасывала Ицека без сожаления в предзимнюю грязь. Потому-то и выпрыгнула сама, вернее, вывалилась за борт, как потерянный куль, плохо привязанный недобросовестными грузчиками.

Толчок об землю, хоть и раскисшую на небывалую глубину, больно отозвался в пояснице. Не в силах сразу подняться на ноги, Мария сидела в серой каше посреди дороги, и боль постепенно отступала, а вместо нее наступал холод и страх. Вода из колеи быстро впитывалась в ватник, юбку и остальное, исподнее.

Мария

Но этого Мария как бы не замечала: там, впереди, елозила по раскисшей дороге дохлая полуторка со своим страшным и родным Марии грузом – с темными кулями фигур из «Заготзерно», с ее мужем, который был куда крупней остальных жителей гетто в их сидячем положении и громоздился теперь над утлым кузовом, заслоня окошечко кабины широченной спиной.

Мария хваталась за фигуру мужа взглядом цепко, как в ту ночь, когда мешала ему поджигать барак, тянулась к нему, спешила за ним – так бы вот вскочила и побежала с криком: постой, не умирай без меня! Всю душу выматывал у нее этот взгляд, привязанный к полуторке смерти.

И струсилось с ней, что она перестала понимать, где она и что с ней происходит. Вспомнилось ей со-



всем другое: праздничное и торжественное – красное лицо мужа с расплюснутым на кончике носом, с большими зелеными – под цвет френча – рыбьими глазами, его стеклянные хромовые сапоги, отражающие сияние свадебных керосиновых ламп. Увидела себя – невысокую, стройную, пышно-темноволосую, в нарядном поплиновом платье и тоже с рыбьими, но карими, счастливыми глазами. И вновь эти его сапоги, такие яркие, неуклюже подвижные: в них не хватало тогда всего пяти пальцев...

Потом это видение оборвалось, а всплыло другое – допотопное детство. Тогда в местечке ожидался давно уже нависший погром. Его слепые бешеные глаза заслонили все на свете: небо, солнце, сам белый свет. И вот он пришел, разразился. И Мария видела распатланных и расхристанных босоногих дядек, с вилами и дрекольем бегущих по улице. А впереди узнавала она учителя из уездной гимназии. Он бежал, оборачиваясь и крича на всю улицу: «Ты тряпье-то не хватай! Ты сначала их перебей-то и выродков ихних! А потом уж тряпье! Ты Украйну спасай! А потом уж грабь!».

В это время за спиной ее зачавкали шаги.

– Это она, видно, от колонны отбилась, – предположил чей-то хриплый голос.

– Слушайте, гражданка, – тронули ее за плечо, – вы совсем напрасно именно здесь расселились. Слезьте-ка лучше в канаву, там вас хоть не слишком видно будет.

И прохожие пошли дальше по своим неотложным делам.

Дикая тревога принудила Марию очнуться, вырваться из ледяной ванны дороги. Стряхнув кое-как налипшие комья грязи, она потащилась к тому месту, где, по ее разумению, должен был выпасть



Ицка. Вскоре она и наткнулась на него. Он сидел на обочине, продрогший, рыжий, сопатый, головастый, родной, с посиневшими губами, живехонький, дрожащий – в чем душа держится. Мария схватила его в охапку, прижала к себе, приникла к нему в бесслезном рыдании. Но на чувства у них не было времени. И они пошли в сторону от дороги, прямо по сырой стерне...

Исход

Для того, чтобы ожил Иисус, не требовалось Марии.

Ицеку нужна была Мария. Чтобы дышать и плакать, быть голодным и насыщаться, выжить и выйти из ледяной фашистской пустыни, где каждый с виду обыкновенный человек мог как волком, так и Иродом для Ицека обернуться.

И Марии нужен был ее Ицек, а не любой другой. И неизвестно даже, кто кого выводил из черного плена. И вот Мария запеленала сына в заботливо украденный заранее из собственных, конфискованных врагом вещей, теплый платок, и они побрели куда-то в сторону будущего восхода.

Шли ночами. Днем прятались по стогам, клуням, стойлам опустевшим, куда проникали зачастую без спросу. Иногда, заглянув в сарай поутру по своим хозяйским надобностям, их застукивали бывшие колхозницы. Чаще всего они не бранились, не пугались даже: много брело по полям рассыпного неясного люда в то время. С другой стороны, многое, непривычное прежде, становилось обыкновенным и, наоборот, многое обычное и естественное, как пять пальцев на руке, стало диковинкой, наводящей на мысли, тревожащей. Так что чаще всего женщины



не пугались, – всплеснув руками, охали, всхлипывали, глядя на исхудалую Марию и тень Ицэка рядом с ней.

«Этот вот хлопчик не мой, из детприемника. К родне пробирается, – спешила уверить хозяйку Мария. – А я ему чужая. Из заключения я, из ДОПра. Вот, прибился ко мне малой. У вас не найдется ли поесть немного. Я вас очень прошу! Если можно...».

Хозяйка сморкалась в передник, вытирала покрасневшие вдруг веки красной от мороза и утренней работы рукой. Торопилась в дом, приговаривая: «Можно, как не можно! Послал вас Господь мне на погибель, бедолаг. Идут, и идут, и идут. А уж тощи да голы!» Возвращалась, совала в руки Марии, Ицэка что-то духмяное, теплое, пахнущее жизнью. Приговаривала: «Как так, чтобы дитю не подать! Чи мы не люды? Отто вам хлеб, та тикайте, поки що, поки староста не прийшов». А то и просто так, бессловесно подавали, юрко оглядываясь по сторонам да поторапливая уйти от порога своей хаты. А то и бесхлебно гнали, обкладывая скверными словами. Тогда Мария сама торопилась уйти поскорей да дальше: «Страх не грех: хоть пятки жжет, да от худа бережет».

Однажды они уже почти миновали встречное село, когда увидели свет в щелях ставен крайней хаты. На базу толпился народ, у крыльца стоймя был прислонен свежий гроб из слегка ободранных топором лесин. Думая только о возможности поесть и хоть чуть-чуть согреться, Мария с Ицкой вошла вслед за людьми в хату. И тут, в тепле, она почувствовала новый оборот беды: есть уже что-то не слишком хотелось, но вот ноги дрожали и плохо слушались. Ей, как и всем входящим, налили стопку самогона, дали что-то заесть.

«Некуда идти, – решила Мария. – Все равно пропадем».

Она из последних сил принялась помогать хозяйке обряжать покойника.

Хозяйка приютила их с Ицкой. Накормила, уложила спать.

Через день-другой Мария из благодарности взялась за иглу и наперсток, чтобы пошить кое-что из белья, потому что до войны она была выдающейся беловшивейкой. «Ребро за ребро, добро за добро», как говорится. И хозяйке это понравилось. И жили они так с хозяйкой душа в душу три-четыре дня. Но волчьи законы оккупированной территории не допускали подобной жизни.

Мария стала зорко присматриваться к хозяйке. Как зверь, из-за тихого приветливого лица следили беспокойные жесткие глаза. И однажды поутру, когда хозяйка вышла задать корму скотине, Мария метнулась к бельевому сундуку, где хранились, видимо, документы, а главное, паспорт хозяйки. Мария мгновенно взрыла гору белья, выхватила паспорт и попыталась спрятать где-нибудь на себе. Скрипнула дверь. Мария живо обернулась. Женщины оказались лицом друг к другу. И они не смогли узнать друг друга, потому что обе стали безжалостными, обе были потрясены, обе ощущали одно – ненависть.

Стремительно побледневшая хозяйка молча бросилась на Марию, а та, не собираясь отступать, стала запикивать паспорт за пазуху, яростно отталкивая хозяйку другой рукой и коленками. Готовые грызть друг друга, они в тесном объятии рухнули на пол и покатались, опрокидывая лавки и табуретки, стремясь ухватить друг друга за горло.



В это время в дверь тяжело застучали, и хриплый голос проорал: «Эй, постоялка! Ступай до старосты!».

Грозовым ударом прозвучал для Марии этот голос. Она ослабела, перестала сопротивляться. Хозяйка же, отняв паспорт, поднялась, сбросила кожушок, который не успела скинуть, воротясь со двора, и хмуро принялась прибираться в комнате, не говоря слов.

Староста, хлипкий мужчинка, за определенную свою болезнь не взятый ранее в нашу армию, только что от борща, от картохи с салом, от самогончика, вопросительно сидел за канцелярским ободренным столом. Из-под зеленой совещательной скатерки торчали поколовшиеся фигурные ножки стола и здоровенные подшитые кожей валенки старосты.

– Я из ДОРПа, а вот он из детприемника, к родным пробирается. Вместе-то оно полегче: нынче я мальцу помогу, завтра меня с мальцом приютят и пожалеют.

Ей казалось, говорит она необыкновенно убедительно и равнодушно, хоть страшно, тяжело было ей отказываться от собственного дитя, и казалось ей это предательство грозным предзнаменованием чего-то наступающего, неизбежного и кровавого, как рок. Но она продолжала говорить – лишь бы не замолчать, потому что тогда уже заговорит староста и задаст страшные, неизбежные вопросы. Она говорила что-то и равнодушно глядела на него своими глубоко запавшими глазами, окруженными сплошным синяком, образовавшимся от голода и бессонья.

– Послушайте, гражданочка! – прервал ее староста, спутывая и распутывая пальцы и перемежая русские слова с украинскими. – Што вы мене мозги

заправляете? Хиба ж я не бачу, што вы жидовка, та тикаете от законной власти, небось, со своим выродком!.. Ну, вы посидите-ка здесь у прихожей, а я швыдко... – молвил истощенный староста, натягивая кожух и как-то мгновенно толстая, и сгинул...

Несколько выждав, выскользнули Мария с Ицеском из сельской управы и побежали напрямик к лесу через сугробное поле, не забывая на всякий случай петлять, чтобы запутать следы. В мире стояла теперь зима.

Так и скитались в снегах и страхе из сумерек в сумерки, теряя направление и забывая иногда, куда и зачем идут: смысл сконцентрировался для них в бегстве, в движении, в ускользании...

Так и скитались, пока однажды их сон не был прерван смертельно-радостным криком старухи, приотившей их накануне этого незабываемого рассвета: «Нимци тикають!».

По заснеженной деревенской улице бежали люди в грязных накидках. По оружию и еще чему-то неуловимо чужому в них можно было признать отступавшего неприятеля. Похоже было – бегут грязные сугробы, сама зима сбегает, отступает, только не на север, а почему-то на юго-запад.

А еще через два-три часа в село вошли наши танки и едущая на их броне пехота.

Люди-человеки

Вслед за наступающими шли тыловые части, второй эшелон: мастерские, кухни, лазарет, штаб, трибунал.

В избу, где Мария радостно переживала приход наших войск, явился прокурор наступающего фронта, разместился трибунал для совершения



правосудия над трусами, дезертирами, перебежчиками и другими нежелательными элементами военного времени.

Со слезами благодарности обратилась Мария к секретарю трибунала. Она изложила ему свое происхождение и нынешнее плачевное состояние, рассказала про свои мытарства с момента побега с полуторки до нынешнего времени (не дай вам Бог такого же на сердце бремени), про свои почти что двухлетние скитания на вражеской территории. И секретарь, вежливо выслушав ее, спросил:

– Хорошо. Что же вы хотите?

– Я умоляю вас, – впилась Мария глазами в бледно-голубенькие глаза секретаря, – дайте мне какую-нибудь справку о том, что я обыкновенный советский человек, вырвавшийся из фашистской оккупации, а не какая-то матерая немецкая овчарка. И что это мой ребенок Ицек, десяти лет от роду.

И Мария зарыдала. Но не для того, чтобы разжалобить секретаря трибунала фронта, а потому, что какой-то ледник в ее душе стал вдруг оттаивать, и вот из черных пещер ее глаз на потемневшие и обострившиеся скулы пролился водопад светлых слез облегчения.

– Почему вы, однако, обращаетесь именно ко мне? – вежливо, в свою очередь, спросил секретарь. – Кто я здесь такой? Вы же видите, что я здесь маленькая пешка. Обратитесь лучше с вашей просьбой к товарищу прокурору фронта. Он, между нами говоря, способен решить это дело. Но не говорите, что это я вам подсказал идею обратиться к нему.

– Да-да, я все понимаю и не настаиваю вовсе, – согласилась Мария, – я обращусь, куда следует. И мое вам материнское спасибо за ваше сочувствие к моей беде.

Прокурор фронта, когда Мария обратилась к нему, совершенно справедливо заявил:

– Все это так. Но справки никакой я вам дать не могу. На вас ведь не написано, кто вы, откуда. И никакой гербовой печати на вас нет. Но вот вам мой совет, гражданка: не волнуйтесь понапрасну, потому что если уж вы сумели и исхитрились пройти вражескую территорию и пересечь линию фронта, то на нашей родной земле вы, конечно, не пропадете.

И Мария согласилась с ним, хоть и не смогла сдержать горестного вздоха, предвидя в дальнейшем возможные затруднения, связанные с военным положением внутри нашей державы, когда вполне даже двусмысленно оказаться человеком без документов, прибывшим с оккупированной территории.

И вот тогда-то к Марии и подошел человек в штатском, не видный собой, может быть, даже неприятный из-за зеленоватых лупоглазых глаз и мелкой усмешечкой в углах рта, оказавшийся военным следователем.

– Знаете что, гражданка, – сказал он Марии, – я слышал весь ваш разговор с товарищем прокурором фронта.

Он совершенно прав, не давая вам справки, так как поручиться за Вас не может, ибо место его такое и долг такой, что не имеет он права пользоваться своими правами, обосновываясь только на очевидности и чувстве доверия к людям. Но я не об этом хотел сказать, а о том, что я вам полностью доверяю. И я решил вам помочь с вашим ребенком. Все мы советские люди и не должны отгораживаться от чужого несчастья.

И зеленоглазый следователь дал ей письма к своей жене и брату, якобы, проживающим в г. Са-



ранске. И помог Марии с Ицком выехать в тыл из зоны военных действий на полуторке с ранеными.

Что сказать о бесконечном пути до Саранска? Не раз еще Марии с Ицкой пришлось пересекать линию фронта, потому что была эта линия необыкновенно подвижна: то наши слишком быстро отступают с тактическими целями, то враги в ходе поспешного отступления окажутся вдруг в глубоком тылу у наших. Теплушки, бесконечные стоянки, толпы беженцев, мешочников, станционный кипятилок, если повезет, головокружение от слабости, голода, холода, жары, духоты, пота, вони, жестокости и бед окружающих... Далек же оказался радужный спасительный Саранск.

Дожить

Вот и Саранск, серенький, пыльный, чернобренчатый по окраинам, малоэтажный, заштатный, переполненный беженцами и местными людьми, но главное – мирный. Есть и центральные кирпичные улицы, и конторы, и трудящиеся предприятия, и столовые, и общежития. И можно, наверное, здесь жить и выжить как-то, и дожить до всеобщего мира и благоденствия после нашей справедливой победы над зверским неприятелем. Главное теперь как-то устроиться, получить работу, карточное пропитание, крышу над головой.

Мария сильно надеялась на письма того доброго человека, и сразу же по прибытии в Саранск бросилась разыскивать его родственников: надо ведь было срочно обрадовать их известием о том, что их муж и брат все еще жив.

Правда, встреча с женой следователя оказалась не слишком радостной, потому что та, долгое вре-



мя не имея от мужа никаких известий, решила не впадать в излишнюю сентиментальность и присмотрела нового мужа. И теперь, получив неожиданное письмо из рук неизвестной подозрительной женщины с ребенком-дистрофиком, она была крайне раздосадована. Помочь незнакомке эта женщина, проживавшая в доме жен комсостава, наотрез отказалась, а наоборот, как потом выяснилось, проявила бдительность и заявила насчет Марии куда следует.

Зато брат того человека отнесся к бедственному положению Марии сочувственно, приютил ее с Ицеком на первых порах у себя, помог выправить кое-какие необходимые бумаги и даже устроил ее на работу в качестве коменданта общежития ФЗУ, исполняющего заодно обязанности кладовщицы и технички при том же общежитии. Там же, в общежитии, нашлась для Марии крошечная угловая комнатуха, окнами на север, с двумя узкими железными койками, которые Мария приспособила в два этажа, нарами, ради экономии места, что позволило втиснуть туда еще столик и две табуретки. Носильные вещи поместились на вешалке, прикрытой куском ситца. На подоконнике сияли и стыли два цветка: пунцовая герань и синенькая фиалка, а за ними, живыми еще, на стеклах – целые ледяные тропики.

Таким образом, стало возможно жить в ожидании счастливого будущего после неизбежной нашей победы над захватчиками. Это было, пожалуй, настоящее бледное неулыбчивое счастье в жизни Марии и Ицека.

С утра, до света еще, Мария вставала, приводила себя в порядок, надевала черный, немаркий халатик и цветной, на скорую руку пошитый, передник, принималась за исполнение обязанностей технички: мела коридоры, мыла полы, панели, чистила



унитазы и умывальники, чтобы дети-фезеушники, проснувшись, увидели по-домашнему улыбчивое общежитие.

В шесть утра Мария переодевалась в домашний веселенький халатик, будила Ицку, следила, чтобы он как следует умылся, почистил ботинки, сделал физзарядку (ведь он – будущий воин, мститель за отца и поруганную Родину: кто его знает, когда кончится это страшное побоище!).

Они завтракали свежей и душистой солнечной мамалыгой, запивали ее стаканом бледного несладкого чая, и Ицек бежал в школу через весь Саранск. Мария же, переодевшись в хорошо отглаженный синий сатиновый халат и повязав голову пестренькой косынкой, вступала в обязанности коменданта общежития: прописывала и выписывала жильцов, меняла белье, отвозила в стирку, разбиралась в спорах, жалела, бранила, воспитывала...

Национальный вопрос

В декабре 1943 года Ицеку исполнилось 11 лет. Жилось ему нелегко: был он слаб, выглядел заморышем, казался куда меньше своих лет. Учился неважно, плохо усваивал материал: постоянно кружилась голова от слабости и недоедания. К тому же огненный ёжик его головы постоянно привлекал к нему недоброе внимание однокашников. Сытые и крепкие местные мальчишки радостно преследовали его за слабость, «тупость», смешные украинизмы, картавость и рыжину, за «противность», как им казалось. Классный вожак, сын милиционера, крупный, озорной постоянно подстерегал Ицека после уроков, «мылил» под общий злорадный хохот, валлил на снег, пинал валенками, теплыми, подшиты-

ми кордом, отнимал и рвал тетрадки, сшитые Марией из обрезков серых газетных полей (с бумагой ведь тогда были большие трудности), короче, преследовал от души.

Ицек ничего не рассказывал Марии, чтобы не терзать ее и без того никудышное сердце. Он никогда не плакал, когда его обижали, молчал, стиснув зубы, смотрел зверенком в глаза мучителю и даже пытался криво улыбнуться, чем вызывал особенную ярость милицейского отпрыска.

Казалось, Ицек вообще разучился говорить. Молча вставал он в шесть утра. Молча делал физзарядку, отжимался от пола, преодолевая головокружение, сначала один-два раза, потом три, четыре, пять, пятнадцать... Старался побольше есть, ел все, что ему давали, все, что удавалось выменять у одноклассников – на перышки, на медные шарики от общежитских кроватей, на внеочередную уборку в классе. Ел, как бездонный: мамалыгу с требухой, делая вид, что не замечает, что Мария подкладывает ему почти все из своей тарелки, ел макуху, краденую с мимоезжих полуторок, сладчайшую свеклу, выигранные в цок (игра монетками) и в альчики (игра костяными бабками) кусочки сахара. Иногда перепадал и супчик с печенью, после того, как Мария шила кому-нибудь ночь напролет.

Неприметно Ицек окреп. Волосы его засверкали, веснушки расплались, что вызвало новый приступ насмешек. Ему, конечно же, давно прилепили кличку «Рыжий» и скандировали вечную считалку-издевку «ры-жий-пыжий-коно-патый-кое-где-покры-тый-ва-той-рыже-ватой!».

И вот наступил этот день. Точнее, вечер.

Еще днем в классе произошел обычный инцидент. Нудно тянулся урок немецкого. Учитель по



кличке, конечно же, «Немец» четко и педантично диктовал спряжение неправильного глагола «зайн» (быть): «зайн-вар-гевезен (быть-был-бывал и до того)». Стояла тишина и скрип перьев, когда на чисто выметенный пол шлепнулся вдруг кулек и рассыпался – лузга от семечек. Тишина – помертвела.

– Что это? Кто это сделал? – спросил Немец.

– ...

– Признаетесь – или класс останется после уроков до выяснения, – отчеканил Немец.

– ...

Потом гнусный, даже какой-то вонючий, хрипловатый с издевкой голос:

– Да это Рыжий! Я видел...

– Кто это? – спросил Немец, словно разыгрывал по нотам любительский спектакль, словно не видел единственного пожара в классе...

Но тут же оборвал «игру»:

– Останешься после уроков и уберешь класс, – отчеканил фашистским голосом.

Урок продолжался для всех, кроме Ицека, у которого пожар возник теперь уже в сердце – огонь возмущения от всей этой несправедливости согласной – сытых «немцев» и «милицейских сынков»-фашистов, – нашлось общее лицо несправедливости. Никто в классе не видел этого огня бездымного. Прошелестело хихиканье, шепоток. Уроки проскрипели, закончились. Учителя ушли. Явилась уборщица, тетя Надя, принявшая теперь высшее главнокомандование в опустелой школе.

– Ты, говорят, напакостил, – обратилась к Ицеку, – убирай теперь.

– Нет.

– Метлы поганой захотел? Мети!

– ...



В классных дверях нарисовался милицейский сынок... с прихлебателями, глазающими из-за спины.

– Не уйдешь до смерти, пока не вылижешь пол, жид порхатый, – развернул он сочную губастую пасть.

То, что произошло в следующее мгновение, было похоже на крушение или конец света – для мучителей. Ицка молча бросился из своего угла на обидчика, головой горящей, как тараном, в грудь, сшиб его с ног. Тот вскочил сгоряча, но тут же снова полетел на пол. Освирепел, вывернулся, вскочил, бросился на Ицку, попытался ударить – и ударил в лицо. По щеке Ицки заструилась кровь, живая, яркая. Но Ицка ничего не чувствовал теперь. Он бил, кусал, рвал, царапал нечто ненавистное перед собой. Обидчик не выдержал, сломался, смялся как-то, завопил испуганно и жалобно – по-детски – мама! Попытался убежать – и не смог вырваться из сцепленных костистых крючьев. Уполз кое-как за дверь, синий, исцарапанный, в разорванной шевиотовой курточке. И прилипалы вдруг отвернулись от него, смылись, разбежались испуганно по домам.

С этого вечера все в школе переменилось. Ицек бил всех, пытавшихся задеть его или унижить: и равных, и тех, кто казался сильнее и старше: они были просто мальчики, добрые или недобрые, задиристые или подлые. У них не было за душой снежных полей оккупированной Украины, бегства, голода, бомбежек, умирающих составов теплушечных.

Неожиданно все слабые, обиженные, особенно эвакуированные дети, сплотились вокруг Ицека, готовы были как угодно пострадать за него, без колебания ввязывались в драку, если он, как обычно, молчаливо бросался на подличающего здоровяка. Бедные, робкие, слабые – взяли в школе верх...

Арест

В декабре 44-го Ицeku исполнилось 12 лет. Он стал агрессивен. Ведь до возраста Иисуса ему оставалось лет двадцать. Постепенно он догнал товарищей по учебе, стал «хорошистом», учился теперь с интересом. По-прежнему, всюду разыскивал еду – готов был украсть. Стал играть с мальчишками на деньги. У него появилась самодельная финка, которую он хранил на дне школьной сумки, под тетрадями. Короче, Ицек начинал чувствовать прелесть независимой жизни ребячьего вожака.

И тогда Марию арестовали...

Ее допрашивали уже несколько суток – непрерывно: следователь отработывал положенное рабочее время и, измотанный, шел отдыхать, его сменил свежий работник, допрашивал монотонно и однообразно, как заведенный. А Мария оставалась на своем стуле в свете рефлектора, направленного ей прямо в лицо. Ей не позволяли спать, падать со стула, постоянно будили. Следствие работало на совесть, тщательно, неуклонно.

Новый следователь был еще очень молод, но уже с опухшим лицом, от недосыпа что ли, с явственными мучнистыми мешками под глазами. Глаза поблескивали из щелей лихорадочно, словно выстрелы из дота. Он непрерывно курил, зажигая новую папиросу от окурка предыдущей.

– Кто тебя направил сюда? С какой целью? Как ты выудила рекомендательные письма у фронтовика?

Мария безмолвно прямилась на стуле, темная, исхудалая, большеглазая – древняя икона. Свет, направленный отражателем в ее лицо, не освещал его, а лишь выявлял врезанные – в мореный дуб – складки, черты страдания. Только глаза отражали



искры электрические, подобно чисто отмытым стеклам, за которыми ночь и бездна.

– Кто вас послал? И какое у тебя, сука, задание? – монотонно путался следователь и тянулся закурить от тлеющего окурка...

Что есть человек идущий? Что есть человек живущий? Что есть человек живой? Точка на снегу? Светлячок во тьме? Звезда во вселенной? Посадите звезду на стул. Наведите на нее рефлектор – все прожектора мира. Спросите ее, куда, зачем она странствует, зачем светится, живет? И спрашивайте ее 24 часа в сутки, что делает она в этой тьме египетской, крошечной, и кто ее послал и сказал делать так?..

Мария очнулась на какой-то миг, сознание ее вынырнуло из глубины обморока. Она увидела истомленное, растерянное лицо этого следователя, юношеский еще пушок на потерявших румянец серых щеках. Сожаление, жалость к этому сжираемому войной и бесовской злобой всеобщего страха юноше обожгла ее сердце.

– Знаете что, – заговорила вдруг Мария глухо, из-под каменной плиты страшной усталости, словно бы даже и не голосом, а всей душой, хлынувшей из сожженных глаз. И слова ее были темны, чисты и прозрачны, как пучина. – Знаете что, не нужно меня допрашивать больше. Поберегите себя для жизни, для вашей матери. Я подпишу. Вы пишете, а я подпишу там... что надо... Нет, я не подпишу. У меня Ицка, мальчик, пионер. Ему не придется стыдиться своей матери, которая подписала ложные слова об измене, о службе тем, кто убил его отца. Но знаете, товарищ... гражданин следователь, мне приятней от наших погибнуть, чем от немцев. Мы вот шли к советской власти – и дошли. И я знаю, что мой Ицка не пропадет теперь. Ему ведь лет де-



сять помогать надо, чтобы он стал на ноги, чтобы он человеком стал. А вы не мучайтесь, гражданин следователь. Хватит уже меня допрашивать. Я ведь скоро сама умру...

Что-то случилось, сдвинулось в мире. По радио передавали салюты. Наши брали города, села, местечки, целые страны. Ожидалась всеми какая-то нечаянная, небывалая радость, весна какая-то, что ли. И вот, Марию выпустили. Взяли подписку о неразглашении государственной тайны и отпустили к сыну.

Мария и сама стремилась забыть, выжечь из души совиный взор этой «государственной тайны». Ведь в мире и впрямь наступала весна. И под яростными огненными ударами наших армий трещал и ломался хребет фашистского чудовища. И в сердцах у людей вырастали высокие и серебристые тополя надежд...

Нечего и говорить, немедленно по освобождении Мария рассчиталась с работы и вместе с Ицеком, которого в пору ее отсутствия приютили добрые люди, в частности, милиционер, отец того одноклассника, с которым... Впрочем, об этом уже рассказано подробно, кроме того, что после знаменитой драки дети успели почти подружиться, потому что национальная рознь не успела еще укорениться в душах детей, и потому еще, что с окрепшим, успевающим в науках и справедливым Ицеком всем в классе приятно было дружить, я так думаю, ведь Ицек был, в сущности, не злой мальчик. Это беды эвакуации его ожесточили.

Так вот, Мария с Ицеком, захватив из скудного своего имущества только пищу и одежду, немедленно после освобождения Марии уехали на Кавказ, где у Марии проживала родная сестра, и где никаких немцев уже и в помине не было.

Правда, по приезде на Кавказ выяснилось, что сестры и ее семейства нет больше на белом свете, так как их уничтожили немцы во время короткой оккупации в числе тысяч других советских граждан еврейской национальности. Что уж об этом говорить, это всем известно. Об этом писал даже великий советский писатель Алексей Толстой, который посетил Кавказские Минеральные Воды со специальной комиссией.

Жизнь приходилось начинать сызнова. Марии к этому не привыкать. В ту пору рабочие руки были крайне нужны. Мария устроилась сначала разнорабочей на стройку и получила место в общежитии. Но жить в общежитии оказалось слишком сложно: в каждой комнатке находилось по несколько семей и некоторые мужчины иной раз, поднабравшись как следует, вламывались за занавеску к Марии, пытались ласкать ее насильно, что вызывало скандалы и яростное сопротивление со стороны Марии и разбуженного криком Ицека. Однажды Ицек бросился с ножом на соседа, что повлекло жалобу со стороны жены этого соседа. Поэтому Мария, истратив все жалкие гроши свои, купила на окраине города у одного пожилого человека часть сарайчика, выложила перегородку из дикого желтого песчаника, оштукатурила получившуюся комнатенку кое-как внутри, побелила, покрасила и вымыла небольшое окошко и стала там жить с сынишкой довольно счастливо. Никто теперь к ней не приставал. Невдалеке от сарайчика протекал свежий и всегда взволнованный Подкумок. Стояла на окраине великая плещущая тишина. Из-за того, что мост через поток был взорван еще нашими при отступлении, никакого транспорта в этой части города тогда еще не было. К тому ж у старика-хозяина был небольшой сад, и за некото-



рые услуги (Мария прибирала в комнатах, копала огород, помогала ухаживать за садом) ей с Ицеком перепадали иногда фрукты: тарелка вишен, миска кураги, а то и дюжина-другая яблочек – поздней осенью – крепких, хрустких, сочных «семеринок».

Со стройки Мария ушла: там слишком мало платили неквалифицированным работницам. Да и тяжело было уклоняться от ухаживаний здоровенных работяг-инвалидов, соскучившихся за предыдущую войну по женской ласке. И ведь Мария, несмотря на все тяжкие переживания и беду, была все еще слишком привлекательной – невысокая, ладная, темноглазая, с тяжелой грудой каштановых волос, пронизанных уже сверкающими нитями белизны.

Устроилась торговать газировкой. Худо-бедно удалось приодеться самой, обмундировать Ицека к школе, подготовиться к зиме: сложить крошечную печурку, завезти немного дров и угля, для хранения которых пришлось пристроить к своему углу кладовку. Вот и пережили зиму кое-как. А весна принесла вместе с цветением всего мира, вместе с очистительными и благотворительными майскими грозами – Великую Победу.

Дьявол

Жизнь наконец-то упрочилась. У людей появилось не только ближайшее, но и дальнее будущее. Однако, вместе с радостью освобождения от великой заботы войны пришли новые маленькие заботы грядущей личной жизни. Сразу как-то обнаружили многочисленные житейские нехватки. Скучность существования, оправданную прежде лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!» – стало теперь нечем оправдывать.



Возвращались демобилизованные из армии, кое-кто привозил с собой заграничные шикарные вещи: отрезы, костюмы, аккордеоны. А один умник, парикмахер по профессии, всех переплюнул: привез десять пачек иголок, обыкновенных, швейных, которые были страшным дефицитом и шли нарасхват по рублю за штуку (а в пачке-то 10 тысяч!). И еще он привез полный набор парикмахерских инструментов и замечательное пневматическое кресло. Так на иголки он построил огромный двухэтажный домище, и сад развел при доме. А стричься к нему ходило полгорода, за неделю в очередь записывались, потому что его инструменты не выдирали волосы с корнем, а срезали мягко и аккуратно. К тому же, что и говорить, мастер он был отличный.

Но в жизни Марии как раз-таки ничего не изменилось, как будто в ее душе все еще продолжалась война. Замуж она вторично не вышла по ряду причин. Во-первых, она и не думала о замужестве, потому что все еще не могла позабыть своего дорогого покойного мужа Марка, который истлевал где-то на дне колодца. Во-вторых, Ицек подрастал, становился все более похожим на отца, но был, по молодости лет, грубоватым, задиристым, очень обидчивым. И Мария не знала, как сложатся его взаимоотношения с неизвестным взрослым мужчиной, который прошел как-никак войну и хочет теперь, понятно, мирной тишины и всеобщего уважения хотя бы у себя дома. В-третьих, Мария не то чтобы постарела, но как-то высохла. Нежное ее, чистое и спокойное лицо с темно-карими глазами, в которых теперь проскальзывала какая-то жалоба безмолвная, потемнело, на нем обозначились жесткие морщины упрямы и страдания. Богатейшие каштановые волосы, которые закрывали ее всю, бывало, до маленьких розо-



ватых ступеней – если их распустить, и которые до смерти любил ее Марк, пришлось сильно обрезать, потому что мыло было слишком дефицитным, чтобы его ухлопывать на одни только волосы... Нет-нет, Мария о замужестве и не помышляла. Думала она об Ицке: как его обуть-одеть, накормить, выучить, дать ему чистую, пригодную для жизни и для людей специальность, уберечь от дурной компании. Ведь, работая продавщицей газировки на людном перекрестке пышного курортного города, Мария понадивилась разного и не раз видела, к чему приводят молодых людей карты, пьянки и поножовщина.

И еще одна подспудная дума не оставляла Марию: хотелось ей узнать все ж-таки, какова послевоенная судьба одного человека. И случай, а может быть, таинственный темный поток судьбы, дал ей эту возможность.

В один пламенный июньский день выделился из протекающей цветастой курортной толпы и стал перед ее киоском малопримечательный, белесый, как моль, гражданин в чесучовом кремового цвета костюме, с орденской колодкой ветерана войны, с узким голубовато-красным недопрорезанным взглядом из-под соломенной шляпы. Человек спросил газировки с двойным вишневым сиропом и, равнодушно свысока поглядывая по сторонам, бросил на стойку какую-то медь. Мария, остолбеневая, машинально налила стакан газировки, поставила перед гражданином и, впиваясь взглядом в это гладкое и красное самодовольное лицо, сказала вдруг низким и охрипшим голосом: «Пей, Леха». Теперь остолбенел уже гражданин. Щеки его смертельно побледнели, даже позеленели, глаза выпучились, полезли из орбит. В следующий момент лицо его стало краснеть, побагровело даже. Казалось, щеки его сейчас лопнут, переполнившись ужаснувшей-



ся кровью, выпитой гражданином-кровопийцей в годы войны. Потом гражданин резко повернулся и, бросившись в гущу толпы, свернул за угол.

Столбняк не отпустил еще Марию. На миг она растерялась: ждала, видела эту встречу из ночи в ночь, почти так же часто, как своего погибшего мужа, продумала и пережила все в мельчайших подробностях, знала, что повиснет на его горле – руками, зубами вцепится, не отпустит, пока не перегрызет этот выпирающий глотательный кадык, эту канализацию горилки и людской крови. И вот он уходит, сейчас исчезнет навеки в толпе. «Люди! – прошептала Мария, а ей казалось, что она кричит на весь июньский пылающий свет, – Люди! Держите его! Он убийца! Убийца!». Она с трудом вырвалась из-за прилавка, бросилась в толпу, ничего не видя, кроме чесучовой спины, спотыкаясь о чьи-то ноги. Прохожие останавливались, рассматривали ее, тормозили ее бег боками, сумками, искали глазами, за кем это мчится, вернее, пытается бежать маленькая, потерявшая косынку, растрепанная женщина, так что волосы летят и плещутся красновато-коричневым пламенем. Ляханьского уже не было. Он затесался в воскресную толпу, растворился в ней, исчез. Возможно, он был теперь в каждом – грязный военный осадок. Толпа по-прежнему шумно и радостно, пестро и праздно протекала мимо обезумевшей Марии. Те, кто заметили что-то, не видя предмета погони, отворачивались, явно торопились уйти, чтобы не попасть в свидетели скандала.

Пометавшись по улице, всюду наталкиваясь на массивные спины и бока недоумевающих прохожих, Мария потерянно вернулась к киоску. Пока она отлучалась, кто-то сгреб мимоходом всю мелочь с прилавка. Но Мария этого не заметила. Закрывает киоск. Побрела в милицию.



Дежурный сочувственно выслушал Марию. Задумался. Достал телефонную книгу, обзвонил приемные отделения санаториев и пансионатов. Нигде человека по имени Леха Ляханский зарегистрировано, конечно же, не было.

Как ей теперь жить, наверное зная, что смертельный ее враг, в лице которого собралось и выступило против нее все ненавистное, бесчеловечное: война, фашизм, жадность, предательство, садизм, следователи-бесы, антисемиты, клопы, ад геноцида – этот враг ее, эта нелюдь, ускользнул от расплаты? Как жить?..

Но жизнь продолжалась.

Воскресение

Умерла Мария только через двадцать лет своей одинокой жизни. И ничего от нее не осталось, кроме этих вот кратких воспоминаний и сына Ицки, закончившего к тому времени мехфак политехнического техникума и работавшего в области промышленного строительства.

Недавно Ицка получил от производства квартиру в новом микрорайоне и поселился счастливо с любимой женой Мусей, как это ни странно, и сынишкой Генкой, совершенно рыжим, как огонь в дровяной довоенной печке, конопатым и ужасно смышленным /сейчас дети рано развиваются из-за телевизора и сытной пищи, говорят/, что, впрочем, не имеет прямого отношения к этому рассказу о Марии и Марке, которых нет, чтобы полюбоваться на счастливую жизнь их сына и внука...

И вот я стою теперь на дороге у нового дома – громоздкий, рыжий, жирный от житейского довольства, имеющий диплом техника, квартиру, семью... Но материны глаза глядят на меня несчастливо,

сосут мне душу. Чего хотят они от меня? Недостаточно им, видно, моего диплома и семейного счастья. «Неужели только для этого выходили мы из пасти смерти, неужто для этого только все претерпели?» – будто говорят ее глаза? «Вот и стукнуло тебе 33, – будто говорят они. – А ты что ж? А тебе не совестно?».

А мне что! Стою я на дороге, смотрю вокруг, вижу: весь мир такой же патлатый и ржавый, дождевой, живой, плакса – как мой Генка. Ласточки выются, травы мечутся, шебаршат. Люди проходят туда-сюда. И жена не хочет читать рассказы из военного времени. Не нужно, говорит, никаких рассказов, стихов или там воспоминаний! Сидеть бы у окна и смотреть, как дождь или снег идет, как люди проходят мимо. И если за людьми пойти, то куда ни пойдешь – тут же тебе навстречу человек противоположный, который тебя, наверное, взаимно уничтожит. Что ж из того! Все равно, все мы люди, все мы человеки...

Когда лучше?..

Кому на Руси жить хорошо?

Н.А. Некрасов

После лекции на тему «Жизнь, творения и гибель лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака» среди публики разгорелась дискуссия...

Нельзя сказать, что на лекции был аншлаг: в шикарном зале на тысячу мест собралось человек двенадцать: остальные бросились к телевизорам смотреть «Открытие Олимпиады».

Правда, лекция закончилась за час до «Открытия», так что дело, видимо, не в олимпиаде, а в неудачной теме самой лекции...



Яркая дама в накидке из чернобурки раздраженно заметила:

– Ах, не говорите мне об «ужасах сталинизма»! Раньше всё было гораздо лучше, чем теперь! Колбаса по рублю восемьдесят и два двадцать. Стабильность. Безопасность на улицах. Бесплатные, почти бесплатные коммунальные услуги. А тысячи нынешних беспризорников! Раньше их не было. Жильё давали бесплатно! Да мало ли...

– Простите, – заикнулся лектор, – я никого не очерняю. Я просто рассказал подлинные события жизни поэта. Всё документально...

– Знаем мы вашу «документальность»! А подтасовка «фактиков»! Почему вы так и не сказали о великих свершениях Страны Советов?

– Так вот, что касается «бесплатного жилья», – встрял в разговор лысоватый измождённый гражданин. – Люди всю жизнь стояли в многотысячных очередях, в которые ещё и попасть надо было! Ты уже трижды папа, уже дедушка, а всё ещё тысяча пятьсот пятьдесят второй. Конечно, кое-кто и получал – руководитель там или распределитель какой. Или за взятку приличную, сравнимую с рыночной ценой квартиры.

Вот моя матушка, юрист, ветеран труда, обратилась с просьбой улучшить жильё: у неё была комнатка со вторым светом без всяких удобств. А она давно уже была на пенсии. «Достала» всё-таки пред. исполкома – он наложил визу на заявлении: «Изыскать возможность...»

Идем мы к председателю жилищной комиссии, молодой человек, тощий, в хорошем габардиновом костюмчике. А в лице какой-то голод, алчность какая-то ненасытная.

– Вот виза, – говорю.

– А у нас нет возможности.



– Только что в городе сдали в эксплуатацию два стоквартирных дома. А мама моя – ветеран труда, общественница. Всю жизнь работала на город. Сражалась за справедливость. Детей-беспризорников устраивала в детдом. Может под конец жизни отдохнуть в квартире с удобствами?

– У нас сотни матерей-одиночек, многодетные семьи. Вы что, хотите лишить их человеческих условий существования? – Давит на «совесть», лихой демагог.

– Ладно, – говорю. – Вот вы молодой человек. Стаж работы не такой уж большой. Говорят, вы вообще приезжий, в городе без году неделя. Семья – вы да жёнка. Вот если вы живёте в однокомнатной квартире да ещё в старом фонде, мы забираем заявление и ничего не просим... (А у него четырёхкомнатная квартира в новом доме, – точно знаю).

– Нет у нас возможности улучшить жильё вашей родительницы. Прием окончен. Меня ждут на заседании жилкомиссии...

Теперь этот чиновник, далеко не молодой человек, один из богатейших жителей города, совладелец крупного санатория. Его сын – директор этого же санатория. Цены на путёвки такие, что легче в Карловы Вары слетать полечиться.

– Это не типично! – взвилась дама в чернобурке.

– Пожалуйста, другой пример. Бывший первый секретарь горкома комсомола, потом – горкома партии, потом, в наши дни, мэр города. На последнем посту слишком явно проворовался – пришлось уйти. Однако вдруг оказался владельцем шикарного санатория, бывшего «Интуриста». Немедленно продал санаторий с хорошим «наваром» толстосуму из одной северо-кавказской республики. Нынче – чиновник всероссийского масштаба где-то в столице, для этих ребят если что и изменилось в стране, то в лучшую сторону.



– Клевета! – высказалась чернобурочная. – Зато сейчас проституток полно. Народ голодает. Коммуналка душит..

– К тому же, – продолжил тощий гражданин, видимо, литератор, – в прежние времена я ни за какие коврижки не издал бы ни одной книги: бешеная цензура, печаталась только серая посредственность. Да за любую из моих книг меня бы упекли в места отдалённые. Да за один мой рассказ сегодняшней были бы серьезные неприятности: якобы – клевета на советский строй, КРД. А сегодня мы обо всем свободно говорим, пусть до поры до времени. Это дорогого стоит.

– Кстати, уважаемая, где вы работали при советской власти?

– Как где! Простой секретаршей в горкоме партии... Но жили прекрасно. На жизнь хватало. Потом – путёвки бесплатные профсоюзные, пайки, продуктовые наборы, вещи дефицитные, премии – всё было в достатке... А сейчас? Всё за свой счёт.

Дама, пылая негодованием, удалилась: спешила к телевизору, видимо.

Разошлись и остальные. Действительно интересно увидеть открытие столь дорогостоящей для страны зимней Олимпиады. Да и потом – как наши выступят, сколько золота-серебра добудем, сколько бронзы? Всё таки серьёзный толчок развитию нашего спорта! А может быть, и физкультуры?

Однако тощий литератор ещё задержался.

– А вот ещё сюжет. Возможно вас заинтересует, обратился он к лектору. – Мои дед с бабкою по линии отца держали мельницу. Своими руками её построили, сами на ней и работали. Окрестные крестьяне привозили им рожь, пшеницу. Они смалывали зерно в муку, часть брали себе в уплату за труд, продавали – тем и жили.



Было у них шестеро детей: пятеро мужского полу и одна девочка.

В революцию мельницу у них отняли, а самих с детьми сослали за Урал: высадили из теплушки в степи, где-то за Челябинском и сказали: «Выживай-те». Спасибо, сразу не расстреляли.

Из сосланных многие поумирали от голода-холода. Другие кое-как устроились, отрыли землянки, что-то посеяли, стали хоть впроголодь, но жить. Потом, к осени, дед с семьёй сбежали из ссылки: понимали, что зиму не переживут.

Где-то в районе Караганды их поймали. Хотели расстрелять, но остро нужны были рабочие руки. Послали деда в шахту, уголь добывать. Там и работал. Жили всё же.

В войну пятеро сыновей пошли на фронт. Четверо погибли. Один остался в живых. Это мой отец...

Вот и рассчитывайте теперь, когда лучше жить было: раньше или теперь.

Голос

Звонок раздался в полночь. Затрещал старый, раздолбанный стационарный телефон, который, по чести, давно стоило выбросить, заменить на новый, современный, изящный, цифровой, с дюжиной дополнительных услуг вроде определителя номера звонившего абонента, показателя года, дня и времени суток, записной книжки адресов, автоответчика и т.п. и т.д.

Но Старик со дня на день откладывал замену, пока совсем не отказался от этой затеи: всё равно последние годы никто ему не звонил: одни вымерли, другие потерялись, посеяли его адрес или просто не нуждались в общении с ним, третьи с облегчением



забыли его, считали, что Старика давно нет в живых, потому что, действительно, сколько можно тянуть ляжку бесчисленных лет и морочить голову добрым занятым людям своим бесполезным, а то и вредным присутствием!

Изредка всё же телефон оживал. Как правило, это звонил автомат, напоминавший, что, если ты не умер, необходимо внести абонплату за телефон, воду, газ, электричество точно в срок, не то тебя отключат, отрежут, оштрафуют, подадут в суд, продадут с молотка твоё имущество.

Другой раз вторгались в тишину квартиры представители неких фондов и агентств, вопрошающие, каково твоё мнение о загадочных событиях жизни страны или /строго конфиденциально!/ «за кого вы намерены голосовать на предстоящих президентских выборах?..» Но и эти звонки были редкие. Упадут, как камешки в пруд, в густую тишину квартиры и канут, будто их и не было.

Не звонили дети, давно разлетевшиеся по Земле, живущие частью за рубежом, на экзотическом и благополучном Западе, частью в своих болезненных и бесконечных проблемах: жить в наше славное время стало как-то чрезвычайно дорого.

За годы верной службы телефонный аппарат будто прирос к своему месту на черно-коричневой тумбочке, стал её частью, как булыжник на вершине горы, корпус его треснул в нескольких местах. Казалось даже, звук звонка его выцвел, потускнел со временем, напоминал скорее сухой треск кузнечика в осенней траве. Но было в этом булыжном аппарате нечто, не позволявшее хозяину выбросить его или заменить на новый: столько в нём побывало голосов, столько яростных споров, истерик, убийственных сообщений, столько личных переключек,

схваток, капитуляций... Казалось, в аппарате кроется, заморожена память. Как её выбросишь!

И вот этот неурочный звонок полночь! Он, надо сказать, озадачил и даже встревожил Старика. Дело в том, что это не был обычный сухой настёрный треск, к которому Старик давно привык. Телефон издал яркую ликующую трель. Как это? Почему? Что с ним случилось?

Ничего хорошего старик давно уже не ожидал ни от телефона, ни от жизни. Тем более сегодня. С утра было пасмурно. К вечеру разошёлся тихий, но обильный дождичек. От такой погоды все суставы, натурально, крутило. Отчего-то именно сегодня соседи дворовые, продавщицы магазинные и вообще неведомые прохожие как-то нудно и безнадежно собачились. Хотелось от всего этого взять наконец и умереть. Вот тут-то и зазвонил телефон...

Старик, удивленно помедлив, взял трубку, разумеется, ни на что особенно не надеясь. Ожидал услышать обычный, бесстрастный, как приговор, металлический голос автомата...

И вдруг из трубки пахнуло на него майским лучом! Свежим ветром с гор! Оживлённым шумом речки по светленьким обкатанным и дрожащим сквозь бегучую воду камешкам. Даже чуть ли не брызги до него долетели – остренькие, ледяные, радужные. Или это были звонкие детские голоса? Похоже было, мальчик и девочка, шлёпая босиком, по колени в стремительных водных бурунчиках, пересекали речку, швырялись друг в друга пригоршнями сверкающей воды. Девочка звонко и счастливо смеялась...

– Здравствуй, это я! – почти восторженно сказала девочка. Могла бы и не говорить: он мгновенно узнал её голосок и знакомый, особенный шум реки, и даже аромат майского приречного луга.



– Постой, где ты?

– Здесь, очень далеко, – ответила девочка ликующе. – Еле-еле дозвонилась. Оказывается, тебе сто раз меняли номер телефона.

– А мне кажется, ты где-то здесь, рядом, за стеной почти. Так прекрасно всё слышно!

– Ну, как ты там? Я жила-жила, и вдруг так захотелось тебе позвонить!

– Да как... Старое барахло. Еле хожу. Дышу на ладан. Сама понимаешь, возраст... А ты? Что с тобой?..

– Какой ещё возраст! Я такая же, как когда мы позавчера расстались. У меня нет никакого возраста, – откликнулась она со смехом, и смех её был, как обычно, задиристый, вызывающий. И голос её был действительно тот же самый – яркий, полный какого-то скрытого радостного смысла, какой-то пленительной тайны. Не детской, не девичьей, не женской – а тайны жизни, весны, какой-то вечной юности.

– Да где же ты? Как туда добраться?

– Сюда невозможно добраться, и отсюда к тебе нельзя даже дозвониться. Можно только быть здесь, или не быть... Но вот мне страшно захотелось – и я дозвонилась.

– Да, я слышу... Вижу тебя... Слышу речку и запах нашего луга...

– Не грусти, дружок. Ты вовсе не «старое барахло». Ты такой же, как я, как всегда, и я даже слышу твой запах... Возможно, я тебе ещё позвоню когда-нибудь. Только ты не умирай там так вот, зазря, – из-за вечного дождя и отчаяния...

Голос в трубке исчез, как бы растворился, рассеялся в пространстве. Гудков отбоя не было, стало быть, там, на том конце пространства никто не клал трубку. Возможно, вообще никакой трубки и не было. Но здесь, в безлюдной захлавленной комнате веял ещё аромат майского луга...

Гроза мира

Часть первая

В ДЕБРЯХ СРЕДНЕЙ АЗИИ

I

Таинственный корреспондент

Николай Андреевич Березин только что допил утреннее кофе и сидел, размышляя, с газетным листом в руках.

«Разве попробовать? – думал он. – Почему бы и нет? Русские промышленники снаряжают в Восточный Туркестан экспедицию. Инженер-технолог им необходим. Я же имею все данные для того, чтобы принять участие в этом путешествии: молод, силен, здоров, к тому же вполне независим. В пути буду им полезен, как практик своего дела и просто, как бывалый человек. А на месте работы немного. Исследования, по-видимому, надо производить пустяковые. С горным делом я отчасти знаком. Не удастся ли исследовать эту темную историю?... Может быть, придется напасть на



**ИВАН
РЯПАСОВ**

Проза





след... А новые места? Охота на диких зверей одна чего стоит... Решать, так решать, нечего откладывать! – вдруг заключил Николай Андреевич. – Пойду, поговорю с доктором Рубергом».

Наскоро одевшись при помощи слуги и захватив с собою газету, инженер вышел на улицу, оживленную движением публики, трамваев и экипажей.

На углу Литейной он взял мотор и через пять минут был у своего друга доктора, занимавшего пять комнат в бельэтаже большого каменного дома с лепными украшениями по фасаду.

Федор Григорьевич Руберг встретил инженера с распростертыми объятиями. В хозяине дома, несмотря на немецкую фамилию, не было ничего, напоминающего немца: чисто русское открытое лицо с небольшой каштановой бородкой выглядело жизнерадостно, несколько полная фигура еще не потеряла гибкости членов, а широкая грудь как-то скрадывала эту полноту, делая ее незаметной. По природе живой и вечно веселый, Руберг представлял полную противоположность брюнету-инженеру с его серьезностью и вдумчивым взглядом глубоких черных глаз, подернутых дымкою меланхоличности.

В приемной врача к приезду Николая Андреевича оставалось всего два пациента. Губерг, увидя друга в неурочное время, постарался на скорую руку от них отделаться.

– Чем порадуешь, Николай Андреевич? – спросил он инженера. – Уж не жениться ли вздумал? А я вот еще думаю годков пять обождать!

И, убежденный холостяк, Руберг первый раз смеялся своей шутке.

Николай Андреевич, вместо ответа, подал газету с обведенным объявлением.



– Так ты хочешь ехать в Туркестан?! – вскричал доктор. – Это замечательная идея, даже больше – великолепная. Туркестан!... Да, ведь, там рукой подать до Тянь-Шаня, Памира, Гималаев! Что Гималаи, самого Тибета!...

Доктор все более и более воодушевлялся.

– Ты едешь, я с тобой! Мы захватим ружья, охотничьи принадлежности. Будем бить черных медведей, диких яков, охотиться на волков. Помнишь, как охотились под Смоленском? Еще тебя медведь чуть не сгрел в свои лапы? Хорошо, я вовремя вклеил ему в рот коническую пулю...

Происшествие, о котором говорил Руберг, случилось лет семь тому назад. Оно то и положило начало их дружбе.

– Я тоже стремлюсь побывать в Средней Азии, – заговорил инженер. – Этот малоизвестный край давно привлекал мое внимание. И не только по своим природным условиям...

«Меня влечет туда неведомая сила»... – запел, было, доктор, но серьезный взгляд приятеля остановил его.

– Если хочешь, – продолжал молодой человек, – то и неведомая. Ты помнишь ли, как года четыре-три тому назад в газетах появилось известие, удивившее многих специалистов, в том числе и меня. Я очень интересуюсь всеми новостями по электротехнике и отмечаю все выдающиеся события в этой специальной области. Так вот, года три тому назад некоторыми газетами было отмечено, что в продолжение большого промежутка времени европейскими и азиатскими станциями беспроволочного телеграфа получались какие-то знаки, походившие на шифр. Притом в них, как будто, нет общности мысли. Впрочем, сам можешь убедиться, вырезку я ношу с собою.



Он подал Рубергу клочок газетной бумаги.

Доктор прочел:

«5 мая 190 года»: Прибыл... на Скоро
вянутся грузы. 18 июня: «Вз был удачен,
приступлено к ...» «12 июля: «Сооружение стан...
закончено, будем пробовать силы...» «4 сентября: ...
все готово, ждем...»

– Этим кончаются известия таинственного корреспондента, – сказал инженер. – Их ни одна из известных станций не отправляла. Кому они предназначены, тоже нельзя сказать. В догадках терялись. Некоторые лица даже были склонны приписать таинственные переговоры корреспондентам с Марса, что, конечно, абсурд. Но если все это не газетная утка, то есть данные, что известия шли все-таки из Азии, а не из европейских станций.

– Какое же отношение может иметь к Туркестану то, о чем ты говоришь? Неужели ты предполагаешь, что...

– Да. Именно предполагаю, что там, где-то, среди этих неприступных природных твердынь Гиндукуша, Тянь-Шаня или Гималаев кто-то селился и основал или, по крайней мере, основывал станцию беспроволочного телеграфа.

– Но... какая же цель? Зачем и кому понадобился беспроволочный телеграф в Гималаях? По-моему, милый друг, это нелепое предположение.

– Я и сам не знаю, какая может быть цель основания телеграфа среди диких центральных нагорий Азии. Но почему-то мне думается, что известия шли именно оттуда. Для меня во всем происшествии тоже есть большая неясность. Если кто-то устроил где-то телеграф, чтобы сноситься с таинственным корреспондентом, то почему он так скоро прекратил работу? Ведь было всего

несколько сообщений, довольно сбивчивых и туманных.

– Может быть, то были сообщения с аэроплана или воздушного корабля. На них уже начали применять беспроводный телеграф, – высказал предположение доктор.

– Тогда остается допустить, – возразил инженер, – что аэроплан несколько раз пробовал сноситься с Европой. Даты телеграмм ясно говорят об этом. Между различными сообщениями слишком большой промежуток времени, чтобы можно было предполагать участие воздушного снаряда.

– Загвоздистая штучка – эти твои телеграммы. Право, из-за них стоит поехать не только в Туркестан, а и хоть к черту на рога. Люблю эдакие увеселительные прогулки! Встряхнешься и как будто помолодеешь, – сыпал, как горохом, доктор.

– Нам ли, Федор Григорьевич, говорить с тобой о старости? – улыбнулся его собеседник. – Тебе нет и сорока лет, и на вид ты – молодец молодцом, куда жизнерадостнее меня, хотя я моложе тебя чуть ли не на целый десяток.

– Вольно тебе предаваться меланхолии из-за какой-то там несчастной любви, бывшей пять лет назад. Я бы и думать-то забыл, выбросил из головы – и кончено. Однако, – спохватился доктор, – ехать, так ехать. Я припишусь к экспедиции хоть сверхштатным. А не прихватить ли нам еще кого?

– Для какой надобности?

– За компанию. Видишь ли, есть у меня тут один естественник, Горнов. Молодчинище, хоть куда. Мы, надеюсь, станем собирать коллекцию из шкурок птиц и зверей. Он был бы отличным помощником на роль препаратора. Знает и любит охотничье ремесло не хуже меня самого.



– Ну, так что же. Средств у нас хватит. Только не вышло бы затруднений с промышленниками?

– Ах, я – телятина! – вскричал Руберг, ударив себя по животу. – Самое-то главное и забыл! У меня, брат, тоже есть сомнение на счет этих Гималайских и иных прочих там горных цепей. Сомнение, навещающее на размышление. Известно, что ни в Центральной Азии, ни по берегам Индийского океана нет действующих вулканов; что были и те потухли. А за последнее время творится что-то странное. Все колебания почвы, как неоднократно отмечали сейсмографы на пороге Сибири, идут из Азиатского центра, который неожиданно сделался очагом землетрясений. Помнишь, какое разрушение четыре года тому назад было произведено в городе Верном и его окрестностях? Дома превратились в развалины. С тех пор колебания почвы, исходящие откуда-то из Азии, сделались регулярными. Не проходит года, чтобы сейсмографы не указывали на сотрясение земной коры, правда, легкие, неуловимые нашим организмом, они идут волною по Азии и Европе, а где их главный центр – остается скрыто от взоров человечества. Недаром ученые уже начали ломать головы над розысками того места, где находится новый враг людей в виде землетрясительного очага. Этот вопрос интересовал в свое время и меня, – закончил доктор.

– Что же, Федор Григорьевич, ты полагаешь, что тут тоже скрывается какая-то тайна?

– Ничего не полагаю. Просто интересно взглянуть на те места, где с таким ожесточением работает природа. Наивно было бы думать, что землетрясения – дела рук человеческих. Это – не телеграфная станция. А вдруг, да правда... Только подобное предположение не входит ни в какие во-

рота!... – И доктор залился таким заразительным смехом, что Николай Андреевич, которому предположение друга показалось крайне забавным и изобличающим остроту его ума, начал вторить ему от всего сердца.

– Итак, едем открывать гималайские тайны!

– Едем!

II

В поезде

Пассажирский поезд, погромыхая, несясь по Самаро-Златоустовской железной дороге. Солнце во всем весеннем блеске стояло высоко на небе. В окнах вагона мелькали темными пятнами начинающие кое-где зеленеть поля, изредка прорезанные мелкими перелесками с молодыми березами.

В одном из купе первого класса, с сигарами в руках, разговаривали трое мужчин. Двое из них: доктор Руберг и инженер Березин нам уже знакомы, третий, высокий молодой человек в студенческой куртке, лет 19-20-ти, с продолговатым, умным лицом, на котором горели серые выразительные глаза – и был тот «молодчинище», о котором с такой похвалой отзывался весельчак Руберг. Студент-естественник назывался Иваном Михайловичем Горновым.

Больше всех ораторствовал, конечно, доктор.

– Скоро будем в Уфе. Прощай, Европа, и здравствуй, Азия! Оттуда махнем прямо в Омск, потом на Акмолинск. А там, через степи, рукой подать до Туркестана, где назначен сборный пункт экспедиции.

– А как вы думаете, Федор Григорьевич, чем мы займемся тотчас же по приезде? – поинтересовался студент.



– Мало ли работы. Прежде всего осмотрим наше военное снаряжение. На каждого из нас приобретено по хорошей винтовке центрального боя, по дробовику, кинжалу кавказской стали и по револьверу Ногана. Их я выбрал потому, что они дальнобойны, и на морозе, если таковой случится, действуют лучше других. Кроме того, каждому из нас куплено по паре платья: крепкие куртки с бесчисленными карманами, такие же брюки, сапоги с двойными подошвами. В дополнение к этому в багаже имеется выбор ягташей, сумок, ремней, патронташей и прочего добра, без которого не может жить ни один уважающий себя охотник. Помимо всего этого, Николай Андреевич везет нужные ему инструменты, а я – врачебные приборы и латинскую кухню. Для вас, мой мальчик, тоже кое-что захвачено, – закончил Руберг.

– Когда только успели вы обо всем позаботиться, все сообразить? – удивился Горнов.

– Э-э, мой милый, три месяца прошло с января 1912 года-то. Что же, я баклуши бить, что ли, стану? Вон Николай Андреевич, пока я бегал по всем петербургским магазинам, начинал свою голову среднеазиатской литературой. Верно, а? – обратился он к инженеру.

– Верно-то верно, да не совсем. Интересовался я, правда, исследованиями Средней Азии, но больше времени употребил на пополнение своих пробелов по металлургии и горному делу, а также на освежение в памяти последних успехов химии и механики.

– Каковы же результаты?

– Результаты увидите на моих работах, когда прибудем на место.



– Какая, собственно, цель всей этой экспедиции, я что-то все-таки плохо представляю? – спросил студент.

Березин принялся подробно объяснять задачи и перспективы экспедиции. Промышленникам желательно исследовать возможность разведения в области озера Иссык-Куля и реки Нарына табака и хлопка, столь необходимого для развития русской хлопчатобумажной фабрикации. Попутно желательно исследовать строение и минеральные богатства предгорий Тянь-Шаня. Что золото там имеется, это не подлежит сомнению. Золотопробышленность существует уже давно в виде добычи металла руками инородцев монгольского происхождения, ведущейся самым первобытным способом. Кроме того, давно уже признано, что в Центральной Азии существуют каменноугольные залежи, что должно представлять огромный шанс для развития здесь в будущем горного промысла. Есть вероятность нахождения, кроме нефрита, и других минералов, полезных в промышленности. Исследование экономического положения населения тоже входит в задачи экспедиции.

Из всей лекции Горнова более всего заинтересовала внешняя сторона дела, и он спросил, далеко ли экспедиция будет углубляться в горы и нагорья Средней Азии.

– Гораздо дальше, мой мальчик, чем вы можете предполагать, – ответил Руберг. — Мы с Николаем Андреевичем намерены не только бродить с экспедицией около отрогов Тянь-Шаня, а заглянуть и в самые недра Памира, даже дойти до Гиндукуша и Гималаев, если представится к тому удобный случай.

– Как я рад, что поехал с вами! – и в голосе юноши послышалась нотка восторженности. – Я всегда



мечтал попасть в неприступные дебри, где бы грозно виднелись обвитые туманами горные вершины, седые, покрытые мхом и могучими деревьями скалы, где бы горный ручей непрерывно журчал в быстром падении с уступа на уступ, а в лазуревом небе реяли бы тени мощных птиц...

– Вы, юноша, оказываетесь настоящим поэтом, – заметил доктор добродушным тоном. – Смотрите, суровая природа не любит рассеянных поэтов. Действительность в горах вовсе не так привлекательна, как вы себе ее представляете. И притом она на каждом шагу ставит путешественнику опасности. А хорошо ли вы умеете стрелять? – вдруг совершенно иным тоном спросил доктор.

– Не только хорошо, а даже почти не умею, – отвечал юноша, смутившись неожиданностью вопроса.

– Не-у-же-ли? – растянул доктор. – Ну, не унывайте. Это дело мы поправим на месте. Николай Андреевич – отличный стрелок: попадает на пятьдесят шагов в кольцо средней величины. Я тоже недурен в стрельбе. Научитесь быстро.

– Я приложу все старания.

– Вот и отлично. А пока пойдемте обедать. Все пошли в вагон-ресторан.

III

Среди зверей и лесов

Из Омска путешественники направились к Акмолинску. Целыми днями ехали они по степи в тряском тарантасе с парусиновым верхом. Тройка лошадей, под томительный звон бубенчиков, мчалась, делая по 12-15 верст в час. Багаж следовал сзади, на телегах. Останавливались около киргизских

и калмыцких юрт, где путешественников угощали кумысом, пилавом и бешбармаком.

Через три недели друзья были уже в Акмолах, – небольшом степном городке, чисто сибирского типа, с деревянными постройками и ужасной грязью. После двухдневной остановки двинулись дальше. Здесь, ввиду более диких местностей, пришлось взять из багажа оружие. По Киргизской степи двигались часто очень медленно. Солнце начало усиленно греть, так что иногда становилось и невмоготу. Изредка попадались целые оазисы, заросшие кустарниковыми деревьями, не дававшими тени. Эти кривые, уродливые кусты, не выше сажени – полторы, заинтересовали Горнова, который спросил о них всезнающего доктора.

– Эти деревья, с своими толстыми, сочными ветвями, точно перехваченными нитками, называются саксаулом, – ответил Руберг. – Ствол этого коряжистого дерева, как видите, в среднем толщиной два вершка, но может достигать и до фута в диаметре. Дерево это нам будет часто попадаться, так как оно распространено по всему Туркестану и тем горам, куда мы стремимся. На поделки саксаул совершенно не годен, так как слишком хрупок, но горит хорошо, и в качестве топлива занимает здесь первое место. Ближе к горам много верблюдов, и они кормятся толстыми, сочными ветвями саксаула.

– Ну, а это что за кустарник? – указал студент на дерево с более тонкими ветвями.

– Это тамариск, – явление здесь тоже обычное.

– Неужели мы будем встречать все эти противные кустарники?

– Дальше на склонах гор будут и лиственные деревья. Дайте только время добраться до Верного.



За всю дорогу до этого города путешествие не представляло особенных трудностей. Но доктор неоднократно предупреждал юношу, что как только они выедут с экспедицией, понадобятся и сила и крепкие ноги.

Верный лежит на средней горной высоте (740 метров над уровнем моря). Огромное большинство построек состоит из дерева. Когда прибыли путешественники, все еще носило на себе следы разрушения, произведенного во время последнего большого землетрясения. Русский город произвел на них хорошее впечатление: каменные дачки, утопающие в зеленых садах, чистенькие деревянные домики, красивые аллеи по улицам. Зато туземная часть, где ютятся сарты, дунгане, таранчи и другие инородцы, поразила своим бедным и неряшливым видом. Торговые площади, где кишела разнообразная по своему племенному составу толпа, были полны непроходимой грязи, какой наши путешественники до сих пор не видывали. Верный ведет оживленную торговлю с Ташкентом и Кульджею, в которой в качестве товара большую роль играют лошади. Сарты содержат под самым городом много конских заводов.

Здесь наши друзья встретились с прочими членами экспедиции. Березин немедленно принялся за окончательную сортировку багажа, тщательно укладывая в тюки ценные измерительные и поверочные приборы.

Доктор, воспользовавшись двухнедельной остановкой, ежедневно ходил в горы вместе с Горновым, усердно уча его стрельбе из ружья и револьвера. В одной из открытых лощин они затесали дерево, сделали на нем мишень и в течение многих часов их выстрелы будили горное эхо. Студент оказался толковым учеником, с крепкими руками и верным



глазом. Конечно, ему было далеко до доктора, на расстоянии тридцати шагов попадавшего пуля в пулю из своей винтовки-скорострелки, но все же он мог считаться уже стрелком.

Иногда Руберг, взобравшись с ним куда-нибудь на высокую вершину, целыми часами любовался расстилавшейся перед ними панорамой. Громадные отвесные скалы, запирающие мрачные ущелья или увенчивающие собою вершины гор, развертывались над ними в своей оригинальной дикости. И им, европейцам – жителям большого города, казалась странной и таинственной окружающая тишина, не нарушаемая ни говором людских речей, ни суматохой обыденной жизни. Лишь изредка она прорезывалась воркованием каменного голубя или криком клушицы, а иногда шумом мощных крыльев с высоты: это царь местных птиц, лохматый гриф, острым взглядом высматривает себе добычу. А затем, по-прежнему, кругом стоит все тихо и спокойно...

Во время одной из таких экскурсий Горнов получил охотничье крещение. Будучи на гребне одной из гор, охотники заметили на одной из нижних площадок каменного барана (аргали), спокойно стоящего на краю пропасти. Доктору уже давно хотелось пополнить свою коллекцию шкурою аргали, и оба охотника сейчас же приняли боевые позы. В это время баран прыгнул вниз, и заряд доктора пропал даром.

Не желая упустить такой ценной добычи, Горнов тоже бросился вниз, перепрыгивая по откосу с камня на камень. Баран оказался на отвесном скате, шагах в пятидесяти. Молодой человек выстрелил и ранил барана, но сейчас же почувствовал, что почва под его ногами скользит. Каменная мелочь сорвалась с места, и охотник, потеряв равновесие, упал и



покатился по крутому склону. К счастью, ему внизу удалось зацепиться за дерево, которое и помешало дальнейшему падению в отвесное ущелье.

Иван Михайлович получил довольно сильные ушибы. Когда он отделался от ощущения растерянности и вполне понятного испуга, то заметил, что над ним стоял доктор. Аргали лежал недалеко. Оказалось, что вторая пуля Руберга доконала его.

В другой раз, это было уже во время движения экспедиции на юге, к Нарыну, с охотниками произошло приключение во время борьбы с тьяншанским медведем. Этот зверь не так велик, как его собратья – серые русские медведи, но охота на него представляет известную опасность.

Был с доктором и студент, и инженер. Добыча была богатая: птиц всевозможных набили штук двадцать. Шли зарослями. Впереди шагал доктор, за ним юноша и, наконец, инженер. Совершенно неожиданно справа выскочил медведь и, увидав людей, остановился в изумлении. Руберг моментально вскинул ружье и всадил в грудь медведя заряд дроби (у него был только дробовик). Конечно, дробь не могла пробить толстой шкуры зверя, а удар только раздражил его. Ближе всех к нему находился Горнов. Он приложился и, в волнении, промахнулся. Медведь ринулся на него, – юноша был на волосок от гибели. В этот момент пуля Березина ранила зверя прямо в голову. Медведь продолжал двигаться. Доктор, видя, что Горнов совсем растерялся от приближения опасности, бросился между ним и зверем с сверкающим кинжалом в руках. Секунда – и зверь был повержен на землю. Все описанное произошло в течение одной минуты.

Юноша горячо благодарил врача, называя его своим спасителем.



– Не стоит, друг, не стоит. Сегодня я, – завтра вы. Охота вообще вещь опасная, друг за друга стоять необходимо. К тому же, я сам виноват, забылся, выпалил по зверю дробью. Не делать бы этого, ничего бы не произошло.

– А экземпляр-то на редкость, – вмешался инженер, разглядывая медведя. – Вон белые когти больше трех дюймов длины. Он составит украшение нашей охотничьей коллекции.

– Она почти полна, но нет самого главного: шкуры дикого яка, – заметил доктор, принимаясь свежевать зверя.

– А что, доктор, охота на яка очень опасна? – спросил Горнов, когда они приближались уже к становищу.

– Да, это посерьезнее, чем на тибетского медведя. Такая охота напоминает мне охоты в Африке на буйволов. Как то, так и другое животное, крайне опасно в раздраженном состоянии. Дикий як – длинношерстый бык с горбом и острыми рогами. Животное это, как повествует наш знаменитый исследователь Пржевальский, достигает огромных размеров, до 11 футов длины, а с хвостом – и до двух сажень. Вес его около 40 пудов. Обладая громадной силою и удивительною жизненной крепостью, як очень опасен для охотника, так как рассчитывать убить его напавал очень трудно, почти невозможно, а между тем, раненый зверь всегда бросается на противника. Если бы при перечисленных качествах як имел поболее мужества и сообразительности (этот бык довольно глупое животное), он был бы страшнее льва и тигра. Особенно опасны яки одинокие – «быки-отшельники», очень раздражительные, и потому борьба с ними является особенно затруднительной, – закончил Руберг.



Но прошло не менее трех недель, прежде чем судьба столкнула наших охотников с яком. За это время экспедиция уже закончила свои работы в горах и вернулась в Верный для дальнейших приготовлений и разбора полученного материала. А трое друзей тем временем сорганизовали из горной деревушки Каракуля свой небольшой караван и, под предлогом геологических изысканий, двинулись к Памиру.

Жизнь охотников была полна разными приключениями. Обилие зверей делало очень интересным их путешествие по горным дебрям. Иногда целые дни проводили в погоне за красным зверем. Охотники карабкались по скалам, обдирая руки в кровь об острые камни. Длинные переходы по горным склонам не раз бывали опасны: ноги скользили по щебню, и путник мог оборваться в бездну. Непроходимые чащи хвойных лесов царапали лица охотников, превращая в клочки их одежду. Вдали часто виднелись хребты с сияющими на солнце шапками вечных снегов. Перевалы через горные проходы становились все затруднительнее. Кормились, главным образом, продуктами охоты. Козы и антилопы разных видов истреблялись в огромном количестве. Шкурок теперь уж не брали: некуда было девать.

Раз, бродя по горным долинам в сопутствии друзей, инженер первый заметил лежащих под выступом скалы трех лохматых яков, которые спокойно отдыхали. Сделав знак своим товарищам приблизиться, Николай Андреевич выстрелил, оставаясь сам невидимым за выступом скалы. Яки вскочили, не понимая, в чем дело.

Вторая пуля, направленная инженером в того же зверя, поразила его наповал. Доктор, показав-

шись у скалы, тоже выстрелил и перебил второму быку ногу.

Но третий огромный як, увидев врагов, бросился на них. Студент послал ему пулю. Як, наклонив голову, с налитыми кровью глазами, продолжал бежать по направлению к доктору.

Последовал новый меткий выстрел со стороны Руберга. Но зверь уже ринулся напролом: разъяренно мотая головой, он продолжал нестись к охотникам. До них оставалось шагов сорок. Инженер послал ему пулю за пулей, великан продолжал бежать. Но неожиданно силы ему изменили, кровь хлынула из горла и он, не добежав пяти-шести шагов до противников, тяжело рухнул на землю.

– Вы молодцом держались, – похвалил доктор Горнова. – Наверное, вlepили пули три.

Оказалось в яке восемь пуль, причем две попали в голову.

Впоследствии доктор сообщил своим спутникам, удивлявшимся крепости зверя, что нечто подобное происходило с Пржевальским, тибетской экспедицией которого было убито более 30 яков. Однажды дикий бык, раненый двумя пулями, направился на одинокого Пржевальского. Тот сумел выпустить 13 пуль из своего штуцера. Бык продолжал свой бег. Пржевальский пригласил бывших поблизости товарищей. Все трое стали сыпать пулями, от которых шерсть летела у яка. Только тогда зверь свалился. В туловище нашли пятнадцать пуль, в голове три, остальные скользнули по непроницаемой шкуре яка.

Тремя шкурами, трофеями редкой охоты, путешественники удовлетворились и более встречи с яками не искали.



IV

На краю гибели

Однажды всесильный случай поставил наших героев в очень опасное и в то же время невероятное положение.

Экспедиция находилась на границе Гиндукуша, раскинувшись лагерем невдалеке от Гильгита. Однажды доктор, инженер и студент, в сопровождении проводника из горных племен, сурового читрала, отправились, накинув на плечи ружья, охотиться в горы на юго-западе.

Охота не была удачной. Перевалили уже несколько горных хребтов, а дичи все не было. Лишь Николаю Андреевичу удалось убить саксаульную сойку. Набродившись до усталости, приятели сделали привал на горной, покрытой зеленым ковром травы площадке, выступавшей над неглубоким ущельем; изрытое каменистое дно последнего ясно виднелось с этого пункта.

Доктор начал, было, вынимать провизию, как внимание всех привлекла чрезвычайно громким криком небольшая птица яркого оперения, появившаяся в лощине. Горнов схватил лежащее рядом ружье и выстрелил. Перевернувшись несколько раз в воздухе, птица свалилась, как камень, на дно оврага.

– Это из породы монтифригилл, – заметил всезнающий доктор. – Хорошенькая птичка, такой еще нет в нашей коллекции.

Скудная трапеза прошла в разговорах о впечатлениях дня, не особенно ярких. Студент спустился в ущелье за своей добычей. Вскоре он крикнул друзьям, что им следует спуститься к нему.

– Что еще там такое? – отозвался Руберг.



– Тяга воздуха здесь необыкновенная. Смотрите, как гнутся былинки в сторону ветра и шевелятся перья убитой птицы.

– Это обычное явление в ущельях, – заметил инженер, – в них почти всегда царят сильные ветры.

– Да. Но, ведь, так бывает преимущественно в глубоких ущельях, а это вовсе не отличается глубиной, и при том здесь нет тени: солнце светит и греет, как наверху.

– Зачем, господа, спорить, – вмешался доктор, – когда есть простой способ разрешить недоумение: пройдемте вниз по лощине и увидим, в чем тут дело. Только бы не натолкнуться на шутки таинственного телеграфиста, – прибавил он со смехом.

Четверо охотников двинулись в сторону направления ветра. Ущелье делалось все теснее и глубже. Стены его поднимались над головами каменными отвесами. Двигались по уклону. Ветер становился все ощутительнее. Прошли около получаса и совершенно неожиданно, после небольшого поворота, увидели, что скалы готовы сомкнуться. Над головами путников, наверху, виднелась лишь узкая полоска голубого неба. Наконец, расщелина сверху закрылась. Тяга воздуха значительно усилилась.

– Это становится интересно, – промолвил Руберг и первый вступил в полумрак.

– Осторожнее, доктор, – предупредил Березин, – можно случайно свалиться в какую-нибудь бездну. Я пойду с проводником вперед, у меня электрический карманный фонарь.

При узком луче света можно было заметить, что стены пещеры сближаются. Уклон становился все круче. Тяга воздуха была здесь так сильна, что платье на путешественниках трепетало, как при сильных порывах ветра.



– Не замечаете, что как будто потеплело? – спросил доктор громким голосом, который, впрочем, был еле слышен за свистом ветра.

– Надо возвратиться обратно! – кричал инженер. – Света не хватит.

– Еще немного вперед, – отвечал доктор, – надо же узнать, в чем состоит этот любопытный феномен...

Голос его оборвался, так как в этот момент на повороте узкой галереи глаза путешественников поразил блеснувший во всю пещеру свет, а уши – неимоверный шум, напоминавший грохот лавины.

Свет был хоть ярок, но рассеян и, казалось, колебался. Необычное явление ошеломило трех искателей приключений, а неустрашимый в обыкновенных случаях опасности читралец в первое мгновение казался совершенно опешенным. Только следуя настояниям инженера, он направился рядом с ним к свету.

– Держитесь крепче друг за друга! – кричал Николай Андреевич.

Ветер окреп до такой силы, что сбивал с ног. Инженер шел впереди. Пещера сделала еще небольшой поворот влево. Яркий красноватый свет окончательно ослепил путешественников.

– Ложись на землю, ложись! – громким голосом вскричал инженер, бросаясь ничком. Доктор и студент сделали то же самое. И вовремя. Галерея под острым углом упиралась в огромный освещенный красным блеском подземный проход, по которому с неимоверным свистом, шумом и грохотом стремился поток воздуха гигантской силы. Проводник, не понявший слов Николая Андреевича, произнесенных по-русски, сделал два шага вперед. Несчастный был подхвачен, словно вихрем, главным



потоком. Его подняло, как щепку, перевернуло несколько раз в воздухе и в мгновение унесло к светящемуся пространству. Студент вскрикнул. Все были поражены ужасом случившегося.

А впереди было нечто действительно ужасное, могущее оледенить кровь в жилах даже отважного человека. Перед взорами путешественников предстала огромная пещера, своды которой терялись в высоте. Противоположная стена, в тридцати – пятидесяти сажнях расстояния казалась огненной. Инженер, знаком приказав держать себя за ноги, осторожно вытянулся за угол, стараясь заглянуть в глубину большой, неожиданно расширившейся пещеры. В ней было светло, как днем. На расстоянии сотни сажень вглубь стены пещеры, пылавшие жаром, казались белыми, кое-где переходя в красный цвет, как стенки раскаленной гигантской домны. Куда только хватал глаз, всюду полосами, толщиной в десятки сажень, лежали светлые, раскаленные пласты. Они уходили в неопределенную даль. Эта раскаленная бездна, бушевавшая, как кратер действующего вулкана, тянула к себе и манила в свои смертоносные объятия. Николай Андреевич, ослепленный, закрыл глаза. Его фуражку давно сорвало ветром, волосы развевались.

Доктор потянул его за ступню. Березин опомнился. К нему возвратилась ясность ума, он тотчас оценил опасность положения. Все трое ползком стали выбираться обратно. Воздух со страшной силой бил им в лица, почти поднимая от земли. Только через четверть часа, когда скрылся свет, они могли встать на ноги и противиться течению ветра. Потрясенные всем виденным и перенесенным, путешественники возвращались медленно, переживая мысленно ужасные моменты.



– Мы избегли смертельной опасности, – заговорил первый инженер, когда достигли выхода из грота. – Бедняга читралец! Он поплатился жизнью за свою неосторожность...

– Это было что-то ужасное, невероятное, – сказал Руберг. – Человек понесся, как щепка какая. Я бы никогда не мог допустить ничего подобного в действительности, настолько все случившееся похоже на кошмарное видение...

– Что же такое это, это... как назвать то, что мы узнали? – спросил естественник. – Вероятно то, что вам удалось видеть, еще ужаснее, чем виденное нами? – обратился он к Березину.

– Я отвечаю, – сказал инженер, – сначала на ваш первый вопрос. «Это», чему вы не можете приискать наименования, называется пожаром каменноугольного пласта. Что я увидел – превосходит всякое вероятие. Самая пылкая фантазия не сможет вообразить сотой доли того, что сделала природа. Нам удалось видеть редчайшее явление, какое выпадает иногда на долю человека. Пожары каменноугольных залежей могут длиться несчетные годы. Но в данном случае я видел внутри пещеры горящий пласт угля в десятки сажень толщиной. На какое расстояние идет пещера с выходами в нее угля, трудно себе представить. Стихийная сила огня, вернее, жара, так велика, что раскалила окружающую землю. Вы чувствовали огромный жар, несмотря на сильнейшую тягу свежего воздуха. Если бы пласты угля шли не по противоположной стороне пещеры, а по стороне, где мы вышли, – нам не удалось бы видеть этот чудесный феномен, если бы только мы не пожелали предварительно изжариться. Температура в пещере адская, чему, должно быть, способствует сильнейший приток воздуха, что тоже надо считать редким явлением.



– А каково было расстояние до ближайших каменноугольных пластов? – спросил доктор.

– Не менее двухсот ярдов. В глубину пещера шла на сто – полтора саженя, может быть и больше.

– А проводник так и сгорел заживо?

– Едва ли. Все случилось так быстро, что я даже не видал, куда его унесло. Надо полагать, что он задохнулся прежде, чем его объяло пламя. Когда я взглянул, все уже было кончено.

– Мы счастливо отделались, – довольным тоном заметил доктор. – Очевидно, старик Плутон еще не желает принимать нас в свое царство. А чуть было не угодили живьем.

– Не попади мы так удачно в побочный проход – было бы плохо, – сказал инженер. – В том рукаве, где мы шли, тяга была незначительна по сравнению с гигантской мощностью главной трубы, в которой уже ничто устоять не может.

– Не думал я, – улыбнулся доктор, – что в ад может существовать такая удобная дорога: хочешь, не хочешь, все равно тянет.

– А я ногу ушиб, когда упал под тяжестью вашей руки, – сказал студент, наведенный речью Губерга на самый важный момент приключения.

Руберг, ввиду такого обстоятельства, предложил сделать привал, на что все с удовольствием согласилось. Друзья были разбиты необычным приключением, нарушившим их душевное равновесие. Физическая усталость тоже давала себя чувствовать. Лишь поздно вечером, после многократных отдыхов, достигли они лагерной стоянки. На вопрос о проводнике, чтобы не смущать туземцев, отвечали, что он разбился насмерть, сорвавшись в пропасть.

Этому поверили, так как подобные случаи бывали часты.



Трое европейцев, все еще не пришедшие в себя, на скорую руку закусили, чем Бог послал, и легли спать, причем сон их нарушался самыми фантастическими видениями.

V

Исчезнувшая гора

Прошло несколько дней. Наши охотники все еще продолжали бродить по горам. Преследуя как-то виденную случайно дикую лошадь, они забрались в глубь горных кряжей востока. Серые скалистые обломки преграждали путь, частые подъемы затрудняли дыхание. Дичь упустили.

Утомленные долгим преследованием охотники расположились отдохнуть на обширном плато, поросшем кое-где травой. Кругозор был ограничен. С севера и запада возвышались ломаной линией снеговые хребты Гиндукуша. С востока надвигались горные цепи Гималайских отрогов. Среди этой цепи гор, километрах в пяти от европейцев, особенно выдавалась одна, похожая на сахарную голову. Доктор обратил на нее свое внимание.

– Что это?.. – растерянно произнес он, увидя, что над головой сахара тучей взлетели обломки камней и пыли, а сама голова как-то нелепо мотнувшись в сторону, опустилась, словно в пропасть. Вместо горы виднелся несколько зазубренный, почти гладкий край, над которым взвились столбы пыли. Доктор, не веря своим глазам, начал протирать их кулаком.

В тот же момент раздался страшный удар, почва заколебалась под ногами вскочивших путешественников. Громовой раскат, похожий на единовременный выстрел тысячи двенадцатидюймовых орудий,

ошеломил спутников. Громкое эхо горных проходов удесятирило этот звук, превратившийся в страшный гул. Облака пыли покрыли место обвала горы.

– Землетрясение, – произнес инженер, собравшийся с мыслями прежде других. – Здесь это явление частое за последнее время.

Руберг пристально взглянул ему в глаза. Николай Андреевич говорил очень серьезно.

Гул начал стихать. Сотрясение почвы прекратилось.

– Нет, это не землетрясение, – проговорил доктор, подумав. – Или извержение вулкана, или...

– Или что? – спросил Березин. – Что вы хотите этим сказать?

– Помните наш разговор о землетрясении в Петербурге?

– Конечно, помню.

– Следовательно, вас не удивит, если я скажу: или – дело рук человеческих...

– Человеческих рук!? – повторил юноша, всем существом своим выказывая крайнюю степень изумления. – Вы не шутите, доктор?

– Менее всего, друг мой.

– Н-но, на чем вы основываете такое невероятное подозрение?

– Я видел, как свалилась гора, но еще до этого из горы вылетел клуб камней и песку или пыли. Если гора свалилась от землетрясения, то чем вы объясните этот предварительный полет пыли в небеса? Конечно, при вулкане это возможно, но самая гора рухнула, следовательно, это не вулкан. Является естественное подозрение, что произошел взрыв не обыкновенный, а взрыв страшной титанической силы. Взрыв же может быть делом только рук человеческих...



Слушатели были уничтожены вескими доводами доктора. Ум протестовал против только что высказанных слов, а реальная действительность убеждала в правоте логических построений Руберга.

– Тогда... тогда мир пропал, – выговорил, наконец, студент, которому пришла в голову ужасная мысль: «Кто могут быть эти люди, если это только люди, а не силы природы, еще нам неизвестные?»

– Об этом спросите у Николая Андреевича. Пусть он догадывается. Те, кто устроил телеграф в Гималаях, не остановятся и перед другим. Я думаю, что гора уничтожилась не без их участия.

– Я уже второй раз слышу о каких-то таинственных телеграфистах, – заявил студент, – и всегда не понимаю, в чем дело, объясните же, Николай Андреевич.

Инженер в кратких словах передал ему уже известный читателю рассказ о таинственных телеграммах, полученных беспроволочными телеграфами четыре года тому назад, изложил свои догадки, а также показал и самую вырезку из газеты, с которой никогда не расставался.

Юноша внимательно выслушал всю историю, а затем сказал:

– Мне кажется, мы стоим на пороге к разгадке тайны телеграфа и землетрясения. Если судьба столкнула нас с такими явлениями, то, очевидно, самому Провидению угодно, чтобы мы раскрыли их тайны. Надо исследовать место провала горы, может быть, это наведет нас на мысль о дальнейшем образе действий.

– Мудрость говорит устами младенцев! – воскликнул доктор, шутливо потрепав но плечу «младенца» чуть не в шесть футов ростом. – Придется нам последовать вашему совету. Ведь, не отступим,

Николай Андреевич, а? Не отступим! – кричал экспансивный доктор, готовый сейчас же броситься к месту исчезновения горы.

– Не так быстро, не так быстро, Федор Григорьевич, – остановил его инженер. – Не следует увлекаться соблазнительной перспективой. Сегодня идти уже поздно. Мы устали, мы разбиты. До пропасти не менее пяти километров, а что нас ожидает при случае, мы не знаем. Вероятно, там нам понадобится весь запас сил, мужества и энергии. Идти исследовать можно только завтра, когда мы соберемся со свежими силами и запасемся веревками и всем необходимым для лазания по скалам.

– Ты говоришь, как Цицерон, а рассудительности в тебе хватит на целый парламент, – ответил доктор. – Ты никогда не увлекаешься и имеешь способность обсуждать положение. Я тебе повинуюсь. Завтра, так завтра, от нас не уйдет.

Отдых был кончен. Разложенная на траве закуска оказалась нетронутой. Есть никому не хотелось. Дорогою всякий думал про себя о том, что принесет завтрашний день.

VII

Невероятное открытие

Наши герои встали с зарей. Багряная полоса на востоке ширилась и алела с каждой минутой. Наконец блеснули солнечные лучи и зажгли луннолазурный небосклон. Трое охотников, захватив оружие, необходимое снаряжение и сказав проводникам, что они отправляются в дальнюю экспедицию, направились к месту вчерашнего происшествия.



Часа через три-четыре они уже достигли горного плато, на котором отдыхали вчера. После привала двинулись дальше.

– Надо будет идти к наиболее низкому краю, – заметил инженер, – у нас веревок всего около сотни метров.

– Такой край, по-видимому, будет налево от нас, – ответил доктор.

Действительно, ломаная линия в указанном месте сильно понижалась. Путники прошли не менее семи километров, прежде чем достигли, как они думали, пропасти.

Перед их глазами раскинулась огромная глубокая котловина, похожая на один из американских каньонов. Стены каньона, противоположные зрителям, казались отвесными. Скалы загромождали более половины обширной котловины. На востоке, в светло-голубоватом тумане мерещилось что-то вроде выходного ущелья.

Середину гигантского оврага, имеющего многоверстную окружность, занимал большой холм из горных пород и обломков скал. Стена котловины, на которой стояли охотники, была изрыта лощинами, каменистые стены их сохраняли следы изломов вчерашнего переворота. Масса щебня, лежавшего по менее крутым склонам, указывала на недавнее разрушение. Ничто не напоминало присутствия поблизости вулкана.

Выбрав удобное место, европейцы осторожно стали спускаться, помогая друг другу. Приходилось цепляться руками и ногами. Иногда щебень скатывался по склону, и ноги скользили вниз. Напрягая силы, удерживались за веревку.

В крутых местах, особо опасных, веревку закидывали на скалу и, держась за оба ее конца, сколь-

зили в пропасть с быстротой падающего камня. Достигнув точки опоры, повторяли тот же прием.

Спуск прошел благополучно. Но на дне котловины был первобытный хаос обломков скал, куч песка и земли. Гору решили обойти справа. Охотники карабкались через большие камни, спускались в мягкую почву, увязали по колена, ежеминутно пробуя путь палками, чтобы не провалиться в неожиданную расщелину. Так шли с полчаса. Впереди инженер, за ним доктор, сзади студент. Уж недалек был другой край котловины, от которого их отделяла лишь узкая гряда скалистых обломков.

Послышался шипящий звук. Все остановились. Первое впечатление было: змея. Звук слышался сильный. Инженер с ружьем в руках выглянул за ближайшую скалу и обернулся к своим товарищам; на его лице была написана крайняя степень удивления, чего доктор еще никогда не видывал в своем друге.

– Паровоз на рельсах, – объявил он своим спутникам, – тише.

– Паровоз! – воскликнул доктор. – Здесь, в непроходимых трещинах Тибета и Гималаев, паровоз?!

Глаза доктора готовы были выкатиться из орбит от изумления. Горнов от этой вести превратился буквально в соляной столб.

– Т-сс... – остановил Руберга инженер, прикладывая палец к губам. – Взгляните сами, но тише...

Двое охотников подобрались к ближайшим скалам и, чуть приподымаясь от земли, взглянули вперед.

По каменистому грунту, чистому от обломков гранита, насколько хватает взор наблюдающего, тянулись, сверкая на солнце стальным блеском, рельсы. На рельсах попыхивал паровоз. Самый ре-



альнейший паровоз, с котлом, колесами, парю шатунов!.. Во всем этом не замечалось ничего фантастического. За паровозом тянулся длинный ряд колесных платформ, уходивших вдаль, к горным россыпям. Людей, за исключением человека на паровозе, не было видно. Зато около платформ в самой гряде обвала какие-то высокие, диковинные машины своими длинными совками, напоминавшими гигантские руки, швыряли на платформы груды красных камней. Видимо, шла нагрузка с помощью механизмов, совершенно незнакомых нашим охотникам. При работе не было ни стуку, ни шума. Только паровоз чуть-чуть покряхтывал и изредка пускал шипящую струю пара.

Доктор переглянулся с инженером. В глазах обоих засверкал огонек решимости.

«Теперь или никогда», — говорили их взоры, что было поймано молодым человеком. Последний, видя к чему клонится дело, крепче сжал свое ружье.

– Ружья на прицел в машиниста, – скомандовал шепотом Березин. – Я пойду вперед.

Несколькими огромными прыжками инженер перемахнул расстояние, отделявшее его от паровоза. Машинист не успел сообразить, откуда нападение, а уж Николай Андреевич стоял на подножке паровозной будки, направив на него дуло револьвера.

– Ни с места! Вы – наш пленник, – громко порусски сказал инженер, жестом указывая машинисту на скалы. Машинист, длинный, сухощавый человек с бритым лицом, с масленкой в руках, казался скорее удивленным неожиданностью, чем испуганным. Он взглянул в сторону, где блестели два ружейных дула, и, не промолвив ни слова, повернулся, чтобы поставить масленку.

Березин свистнул. Доктор и юноша поспешили к нему, на бегу закидывая ружья за плечи.

– Вперед! – вскричал Березин, знаком приказывая машинисту трогаться с места.

– Yes, sir, – ответил тот и одним поворотом рычага дал пар в машину. С шумом задвигались поршни, выпуская из цилиндров пар.

Поезд сорвался с места и быстрым ходом направился к выходу из котловины.

– Вы англичанин? – задал инженер вопрос пленнику по-английски и тотчас же получил ответ на этом языке:

– Да, сэр.

Бритт, увидев из этого, что имеет дело с культурными людьми, уже не казался взволнованным.

– Куда мы едем?

– В Бломгоуз.

– Что это: город, завод или местечко?

– Город.

– Давно ли он основан?

Англичанин промолчал.

– Что там делают?

В ответ хладнокровное молчание.

А поезд мчался уже по узкой извилистой долине, постоянно поворачивая то вправо, то влево. Каменные громады лишь кое-где были покрыты чащей растительности, сменявшейся густым мхом. Иногда склоны лощины сближались настолько, что, казалось, они стремятся сжать поезд в своих теснинах. В таких выемках, похожих на искусственные, на гранитных, уходящих ввысь стенах виднелись следы свежих изломов.

Руберг, понимавший несколько по-английски, передавал студенту результаты разговоров с англичанином.



– Надо спросить, скоро ли мы приедем, – сказал студент Березину.

– Судя по быстроте хода, мы уже отъехали верст на пятнадцать, – добавил доктор.

Инженер хотел обратиться к англичанину с новым вопросом, как всех неожиданно поразила темнота. Станный грохот оглушил путешественников. Через несколько томительных минут туннель окончился и путники вскрикнули от восхищения.

VI

Пленники

Ущелье, где мчался поезд, выходило в огромную, не менее пяти верст в диаметре, долину, обрамленную горами, покрытыми хвойным лесом. Но взоры путешественников восхитило не это. Вся долина, частью застроенная домиками и причудливыми каменными зданиями, частью занятая большим озером, утопала в зелени как бы купающейся здесь под горячими лучами солнца.

После голых, бесплодных скал глазу было приятно остановиться на зеленом бархате травы и деревьев. Нашим путешественникам долина показалась местом райского блаженства. Пораженные ее видом, трое отважных искателей приключений не находили слов для выражения своих мыслей.

Паровоз, между тем, обогнув справа блестящую всеми красками зеркальную поверхность озера, мчался среди зелени, издавая отрывистые тревожные свистки. Из окон, как показалось Березину, выглядывали женские, а иногда и детские головы.

Паровоз неожиданно остановился, так что путники чуть-чуть не попадали друг на друга. Пользуясь их замешательством, машинист выпрыгнул из

будки и исчез. Поезд стоял у открытой платформы. Трое друзей не знали, что предпринять.

На платформе стала собираться толпа народа. Европейские костюмы, высокий рост, рыжие усы, а иногда баки, и цвет лица выдавали в них подданных британского королевства, детей туманного Альбиона. Несколько веселых, подвижных физиономий в рабочих тужурках и белых брюках изобличали принадлежность их владельцев французской нации. Наконец, в толпе мелькали белые тюрбаны над смуглыми лицами правильного индусского типа. Разноречивая толпа теснилась к паровозу. Трое друзей, решив выждать событий, взяли в руки оружие.

Толпа расступилась и пропустила бритого господина среднего роста, лет пятидесяти, одетого в клетчатую пару. Рядом с ним шел скрывшийся машинист.

Клетчатый господин нисколько не смутился, увидав ружья в руках иностранцев. Он подошел поближе и сказал:

– Вы говорите по-английски?

– Да, – ответил Березин.

– На нашей стороне сила. – Вы наши пленники.

Будьте любезны следовать за мною.

– Мы не пленники. У нас есть оружие.

– Ваше оружие нам не страшно. Смотрите сюда.

Джентльмен сделал повелительный знак рукою. Толпа отодвинулась и очистила одну сторону платформы. Осажденные выглянули. Англичанин жестом указывал им на каменный столб около площадки.

Он достал из кармана какой-то блестящий предмет, вытянул руку... и столб с треском рассыпался на мелкие части.



– Вот видите, что значит ваше оружие – повернулся он к ошеломленным русским. – Мы без труда можем уничтожить вас вместе с паровозом.

Березин первый выпрыгнул из будки, приглашая товарищей следовать за собой. Они протянули ружья бритому джентльмену, но тот, очевидно, передумав, просил их оставить оружие при себе.

Англичанин, вместе с пленниками, пройдя платформу, направился по ровной, усыпанной песком дорожке, извивавшейся между зелеными садами, к многоэтажному из красноватого с блестками известняка зданию, с башенкой посередине.

На башне развевался флаг, в котором доктор по рисунку – лев и единорог с гордо поднятой головой – узнал эмблему владычицы морей – Великобритании.

«Вот куда мы попали, – подумал Руберг, – ну, пождем, что будет дальше. Эти гималайские англичане чрезвычайно изобретательны. На них любопытно взглянуть».

– Пожалуйте сюда, – сказал сопровождавший их джентльмен, когда они прошли внутри здания несколько больших, по-европейски убранных залов. Перед пленниками открылась дверь. Русские вошли в комнату, оказавшуюся очень светлой, высокой, с простой, но удобной мебелью, в числе которой находилось несколько кресел.

– Предлагаю вам пока это помещение, – проговорил джентльмен. – Когда судьба ваша решится, тогда получите другое. Спасаться бегством не советую, так как бежать некуда. Вы, все равно, попадетесь. А пока до свидания...

– Позвольте, – остановил его инженер. – Хотя вы и сильнее нас, но вы не имеете права так обращаться с иностранными подданными. Мы желаем знать, где мы.



– Вы в Бломгоузе.

– Что это за Бломгоуз?

– На это я не имею нрава вам отвечать. После узнаете, если только позволят.

– А у кого надо спрашивать позволения?

– Вам, как пленникам, этого знать не нужно, – заметил англичанин жестко и затем прибавил уже другим голосом: – Я пришлю вам Сигму. Если что понадобится, он исполнит.

Дверь захлопнулась. Слышно было, как снаружи щелкнул засов.

– Ну, – сказал доктор, обращаясь к своим друзьям, начинавшим складывать ружья и револьверы в угол, – кажется, мы попались, как караси на жаркое. Пленники... Впрочем, для пленников здесь недурно, – заключил он, окидывая комнату взглядом. – Уж давно мы не бывали в обстановке культурного человека. Теперь, когда мы находимся среди культурного мира англичан, не мешало бы нам пообщиться; как вы думаете?

И доктор взглянул на свое запыленное и испачканное платье. Действительно, в смысле чистоты костюмов трое друзей не блистали. Все были перемазаны землей и мелкой пылью.

– Мне кажется, что все это не более, как сон, мираж, – заметил юноша, смотря на своих друзей, словно желая видеть в них подтверждение своих слов.

– А я, – отозвался инженер, – думаю, чем мог англичанин разбить вдребезги каменный столб. Очевидно, здешняя техника далеко ушла от европейской. С этой стороны наше приключение смахивает на мираж.

– Один я вижу во всем этом происшествии реальную действительность, потому что начинаю ощущать самый настоящий голод, – ответил Руберг.



Эта неважная сама по себе шутка произвела благоприятную перемену в настроении пленников.

Друзья не заметили, как дверь отворилась и через порог ее переступил красиво сложенный индус высокого роста, в цветном тюрбане. Он нес таз и кувшин с водой для умывания. Очевидно, это и был Сигма.

Доктор живо начал разоблачаться, примеру его последовали и друзья. Все освежились и обчистились, насколько это было возможно. Теперь охотники ходили скорее на обывателей, сошедшихся для мирной беседы, чем на отважных искателей приключений.

Голод давал себя знать, и пленники знаками показали Сигме, не понимавшему или притворявшемуся, что он не понимает английского языка, что они хотят есть.

Сигма вышел. Руберг выглянул в широкое, светлое окно. Справа от него в роще раскидистых магнолий, зеленых араукарий, развесистых дубов, длиннолистных олеандр, кудрявых пальм азиатских нагорий выглядывали кокетливые домики, сложенные из того же красного с блестками, похожего на финляндский гранит, камня, что и здание, в котором находились пленники. Слева виднелся кусок водной поверхности, сверкавшей на солнце всеми переливами радуги. Должно быть, это была часть виденного ими озера. Прямо перед зрителем шли те же зеленые рощи, пересеченные прямыми аллеями.

К доктору подошел Березин.

– Как вы думаете, – тихо спросил он, взглянув на юношу, занятого своим костюмом, – что с нами будет?

– Пока ничего, – ответил врач. – Но как с нами поступят в будущем, трудно судить. Я боюсь только одного.

– Чего именно?

– Как бы не пришлось нам остаться здесь навеки.

– Навеки? Вы думаете нас убьют?

– Нет. Но что заставят силой остаться здесь до самой смерти, в этом почти нет сомнения. Нас нельзя выпустить: во всем здесь кроется какая-то тайна, а мы уже приподняли часть завесы, скрывающей эту тайну.

– Вы, пожалуй, правы, – задумчиво произнес инженер.

Разговор был прерван появлением Сигмы, явившегося в сопровождении товарища, такого же высокого, статного индуса, как и он сам. Слуги несли в руках дымящиеся кушанья. Доктор открыл миски и облегченно вздохнул: кухня состояла из европейских блюд.

Несмотря на перенесенные волнения, все трое принялись за обед с большим аппетитом. Сигма прислуживал. Разговор не возобновлялся. Помыслы всех были устремлены только на еду.

VIII

Допрос

После обеда пленникам принесли несколько бутылок эля.

– Это вовсе недурно быть пленником, – воскликнул оживившийся Руберг. – Со стороны англичан весьма даже похвально такое отношение к иностранцам.



– Хороший вы человек, доктор, во всем видите только лучшую сторону, – заметил Николай Андреевич.

– А иначе нельзя было бы жить, – весело откликнулся доктор. – Мы, врачи, должны быть всегда наготове исцелять недуги не только телесные, но и душевные. Равновесие духа и доза оптимизма нам необходимы.

– Уже не полагаете ли вы, что и мы страдаем душевным неравновесием? – вмешался в разговор студент.

– Обязательно, в особенности вы, молодой человек. Когда я увижу вас обоих женатыми, я, пожалуй, соглашусь признать вас душевно здоровыми, – с обычной шуткой в голосе заявил Руберг.

– Кажется, от женитьбы все мы теперь дальше, чем когда-нибудь, – сказал инженер, поддаваясь общему настроению. – Вспомните, где мы и что мы!

– А, может быть, в гостях у какой-нибудь Дидоны, – не унимался доктор. – А вы как раз походите на героя, конечно, двадцатого века. Вот на вас-то первого и наложат цепи Гименея. А там и наша очередь настанет.

Конец этого полного необычайными событиями дня прошел без перемен, как и утро следующего. Пленники довольно сносно выспались в своих креслах и сидели за завтраком. Время близилось к полдню.

Неожиданно явился клетчатый джентльмен и пригласил всех следовать за собой.

– Куда вы нас ведете? – спросил Николай Андреевич.

– На допрос.

– Кто его будет производить?

– Этого сказать не могу. Если «Он» захочет, сам скажет.

– Кто «Он»?..

В ответ последовало одно молчание. Доктор тревожно переглянулся с Березиным. В это время вошли в большую залу, служившую видимо аудиоторией, так как в противоположном конце ее находился покрытый сукном стол с рядом кресел, а все свободное пространство занимали стулья.

– Оставайтесь и ждите, – сказал провожатый и скрылся в дверь, откуда пришел.

В зале было пусто. От непривычной обстановки и ожидания наши друзья начали терять самообладание.

– Вы русские? – раздался вдруг резкий голос со стороны стола. Друзья, пораженные неожиданно, встрепенулись, устремив взор к столу. Однако, там никого не было видно.

– Что же вы не отвечаете? – продолжал тот же голос. Тут инженер заметил, что в стене, против стола, на высоте человеческого роста находится отверстие, из которого и слышалась речь допросчика.

Инженер смело сделал несколько шагов вперед и отвечал:

– Да, мы русские путешественники. А вы? Кто вы такой и по какому праву вы нас держите в плену?

– По праву сильнейшего. Вы шагнули на мою территорию, сделали нападение на моего машиниста, – вы мои пленники.

– Мы не знали, милостивый государь, – отвечал инженер с едва уловимой насмешкою, – что здесь, среди Гималаев имеется независимое государство, правителем которого, очевидно, являетесь вы. В нашей империи нет вашего консула.



– Вы очень смелы, что дерзаете так отвечать. Такая смелость может стоить вам жизни.

– Мне неизвестно, с кем я говорю, – ответил Березин, нисколько не пугаясь угрозы. — Потому я не могу не проявлять своей независимости, не зная вас в лицо. Может быть, вы и имеете право так разговаривать с нами, как вы разговариваете, но для нас, русских путешественников, такое право является весьма спорным. Что же касается угрозы смертью, – мы ее не боимся, так как уже не раз рисковали своею жизнью.

– Вы хорошо говорите, – заметил невидимый, голос которого как будто смягчился. – Ваши товарищи так же храбры, как и вы сами?

Инженер в полной уверенности, что за ним наблюдают, лишь безмолвно поклонился.

– Но мне надо знать, кто вы и зачем сюда явились, – продолжал, голос. – Допустите на минуту, что вы находитесь в независимом государстве, у которого есть свой повелитель. Надеюсь, он имеет право спросить у чужестранцев, зачем, с какими намерениями они явились в его царство, хотя бы для того, чтобы знать, как с ними поступить?

– С такой постановкой вопроса я согласен, – ответил Николай Андреевич. – Мы все – русские. Сопутствовали промышленную экспедицию в Туркестане и Тянь-Шанских отрогах. Жажда приключений и любовь к природе загнала нас на Памир, где мы блуждали много недель, а в конце концов попали сюда...

– Взявши силой мой паровоз?

– Да, если хотите. Нас заинтриговало его появление в таких непоказанных местах. Согласитесь сами, что паровоз на рельсах в Гималаях – явление не будничного порядка.

– Вы, к сожалению, правы. А ваши профессии?
– Это – доктор, а это – студент естественных наук, я же – инженер.

– Инженер и врач... Вы инженер – по горному делу или металлургии?

– Я – инженер-электромеханик.

– Электромеханик. Хорошо. Если вы так же знаете свое дело, как умеете отвечать, то вам не трудно будет найти в Бломгоузе подходящее занятие.

– Но мы вовсе не имеем желаний здесь оставаться.

– Вас и не спрашивают об этом. Если вы дадите мне честное слово не делать попыток к бегству, вы будете свободны в пределах города. Если же нет, вас будут держать, как пленников.

– Мы даем слово, – заявил доктор, молчавший до сих пор, – но не более, как на три месяца, – добавил он.

– Так завтра вас представят доктору Блomu.

– Кто такой доктор Блом?

Ответа не последовало. Вопросов тоже более не задавалось.

Дверь сзади русских отворилась. Вошел уже знакомый англичанин.

Допрос окончился.

IX

Блом

Возвратившись к себе, друзья решили выяснить свое положение. Прежде всего установили тот факт, что они имеют дело с просвещенными людьми и что им не грозит непосредственной опасности. Далее, пришли к заключению о необходимости полного повиновения владельцу Бломгоуза, как пред-



ставителю силы. И все единогласно сошлись в том, что они не сделают попытки к бегству из города до тех пор, пока не ознакомятся со всеми особенностями загадочного города. А инженер еще заметил, что они добились своего: стоят на пороге раскрытия тайны беспроводного телеграфа, а также убедились и в том, что частые колебания почвы Средней Азии – дело рук обитателей Бломгоуза.

– Одним словом, – поставил Руберг свое резюме, – мы увидим немало интересного.

– Да, – подтвердил Березин. – Нам суждено видеть не только интересные вещи, а прямо чудеса, чудеса технических работ этого города, где все так необыкновенно.

– Итак, будем выжидать событий.

События последовали гораздо скорее, чем предполагали пленники. Вечером зашел Сигма и знаками показал, чтобы пленники шли за ним. Он их провел в комнату и указал целый магазин разнообразнейших костюмов, начиная с европейских и кончая пестроцветными одеяниями Индии. Доктор выбрал себе пару черного сукна, инженер – смокинг, а студент удовлетворился пиджачным костюмом светло-серого цвета.

На другой день утром к пленникам явился знакомый им джентльмен.

Его лицо вовсе не казалось ни строгим, ни озабоченным. Он как будто потерял долю официальности и замкнутости, которая так отличает англичан от прочих наций. На этот раз он подошел к друзьям и, протянув руку, отрекомендовался:

– Инженер Вилькинс.

– Очень рад видеть коллегу, – ответил Березин, пожимая руку собрата по профессии.

То же самое сделали и доктор со студентом.



– Будьте любезны, господа, ехать к м-ру Блому. Вас проводит ваш знакомец Кортэр.

Из дома двинулись налево, к озеру. Коттеджи казались вымершими, лишь кое-где изредка колебалась белая занавеска и за ней мелькало женское лицо. Зато на озере, в отдалении, шла созидательная работа. Взору русских представились огромнейшие краны на противоположном берегу озера, казавшиеся отсюда гигантскими руками. Эти руки поворачивались с суши на воду и обратно, таская тяжести. Люди около них казались пигмеями.

Ближе к середине озера стояло на воде большое сооружение, отчасти напоминавшее черепаху. При ближайшем рассмотрении черепахи она оказалась похожей на броненосец. Только этот броненосец был вдвое больше любого дредноута британского флота, а отсутствие труб и мелких сооружений делало громаду похожею на средневековую крепость с срезанными башнями.

Доктор и его товарищи долго ломали голову, спрашивая себя, что могла представлять из себя эта громада, но ответа не нашли. Если это и был броненосец, то ему было совсем не место в замкнутом горном озере.

Но рассуждать было некогда, так как путники достигли станции отправления, если так можно назвать крытую платформу. Около нее, на рельсах, стоял вагон, напоминавший вагон трамвая без одной стороны. Внутри вагона протянулся ряд скамей. В будке с толстыми стеклами, положила руку на вентиль, стоял сухопарый, высокий вожатый. Он обернулся, и все узнали механика, атакованного ими на паровозе.

Увидя трех друзей, Кортэр улыбнулся, насколько мог приветливее. Он указал им на скамьи и посоветовал крепче держаться.



В тот же момент вагон дрогнул, колеса завизжали и друзья с удивлением увидели, как платформа, англичанин и коттеджи стали исчезать с глаз, быстрее, чем в кинематографе. Хотя вагон не трясло, а лишь качало, стоять на ногах не было возможности: скорость движения валила путешественников с ног.

Новые и новые ландшафты так быстро появлялись и исчезали из глаз, что друзья не отдавали себе полного отчета в виденном. Они лишь заметили, что сады сменялись каменными домиками, долины – скалистыми холмами. Иногда с грохотом пролетали ущелья.

Через пять минут вагон остановился у новой платформы. Но через минуту началась та же бешеная езда. Русские, не привыкшие к такому способу передвижения, казалось, не могли прийти в себя от изумления, англичанин стоял хладнокровно в своей будке, не спуская рук с различных рычагов и вентиляй.

Три минуты спустя вагон снова остановился. Механик указал путешественникам многоэтажный корпус, находившийся за платформой у склона горы.

Ярким красочным пятном выделялся он из серого однотонного фона горной местности. Справа и слева к главному корпусу жалось несколько мелких зданий.

– Меня удивляет эта чрезвычайная быстрота здешнего трамвая, – заметил Руберг, вступая на платформу.

– А меня поразило совсем другое, – ответил инженер. – У этого «трамвая» нет проводов для электрического тока, стало быть, это не трамвай.

– В самом деле, – вскричал студент, оглядываясь, – проводов нет?... Ах, он уже исчез!



Последнее восклицание относилось к вагону, удалявшемуся от платформы с невероятной быстротой.

Около самого входа в корпус путешественники были встречены рыжеусым субъектом, лет сорока пяти, крепкого телосложения, одетым в рабочую тужурку. Его быстрые, пронизательные глазки сверкали из-под рыжих бровей подобно раскаленным угольям и разом пронизали путешественников. «Ну и бульдог», – определил его про себя доктор, взглянув в неприятное лицо англичанина.

– Мне поручено представить вас доктору Блому, – отрывисто сказал незнакомец с неприятными глазами.

Русские молча поклонились.

Из обширного вестибюля широкая лестница вела в ярко освещенный зал, служивший как бы приемной. В ее убранстве замечалась какая-то строгая, изящная простота. Стены, двери с резными украшениями и мебель в строгом северном стиле казались сделанными из полированного дуба. Можно было подумать, что находишься в одном из лучших особняков какой-либо европейской столицы, но легкое, чуть заметное дрожание стен, пола и потолка показывало, что приютившее их огромное здание предназначено не для жилья, а для других целей.

Ждать пришлось недолго. Одна из дверей с украшениями распахнулась, и в ней показался старец высокого роста. Обрамленное небольшими седыми баками спокойное лицо было одухотворено такой внутренней мощью и энергией, что само просилось на полотно художника, столько в нем отражалось мысли, ума и силы. Глаза, обладавшие привлекательностью молодости, еще не потеряли



способности загораться юношеским блеском. Движения, порывистые и легкие, были проникнуты благородством. Некоторая худощавость вошедшего скрывалась в настоящий момент серым балахоном, спускавшимся до пола. Было очевидно, что обладателя его только что оторвали от лабораторных работ.

– Сэр, – сказал проводник путешественников, низко кланяясь, – вот иностранцы...

– Добро пожаловать, господа, – ответил старец, и звук его голоса показался русским чрезвычайно знакомым: им почудились в нем те же нотки, что и в тоне вчерашнего невидимого допросчика. Только тот голос был резок и неприятен, а этот ласкал слух.

– Рад вас видеть, – продолжал старец с достоинством, подходя к группе и протягивая руку. – Блом – доктор химии и высших прикладных наук, – отрекомендовался он.

Березин в ответ назвал себя и представил своих товарищей.

– А это мой помощник, – указал м-р Блом на бульдогообразного англичанина, – инженер Гобартон.

Русские раскланялись с Гобартоном.

Извинившись за рабочий костюм, доктор Блом попросил иностранцев в свой кабинет.

«Я... метил в русские Жюль Верны»

Имя писателя Ивана Ряпаса современного читателю практически неведомо. А было время, когда его произведениями зачитывалась вся Россия. Публиковались они под псевдонимом И. де-Рок. В спорах с уральским литератором Иваном Флавиановичем Колотовкиным, который брал для своих рассказов приземленные, сугубо бытовые темы, Ряпасов отстаивал свое видение роли писателя в обществе.

«Надо брать такие темы и сюжеты, в которых рассказывалось бы что-то новое, интересное, даже таинственное! Это заинтересует всякого, даже полуграмотного!» – утверждал Иван Григорьевич Ряпасов, оставаясь верным своему убеждению всю жизнь.

Иван Григорьевич Ряпасов родился 5(17) июня 1885 года в поселке Натальинске, что в восемнадцати километрах от Красноуфимска, вдали от железной дороги. До Екатеринбурга по прямой верст 200 будет. «Глухомань», – говорят о таких местах на Урале.



**НИКОЛАЙ
БЛОХИН**

**Литературо-
ведение**





Отец будущего писателя Григорий Алексеевич Ряпасов, изобретатель по призванию, работал на Натальинском стекольном заводе мастером стекловарения. Его имя упоминается в уральской краеведческой литературе наряду с основателем Натальинского стекольного завода, который заложил в 1872 году красноуфимский купец Иван Артемьевич Шевелин. В семье Ряпасовых было пятеро детей. Ваня – самый младший.

Учился Ваня хорошо. Больше всего мальчик любил чтение. «Родное слово» Ушинского, «Книга для чтения» Баранова, «Дон Кихот» Сервантеса, романы Жюль Верна, журнал «Вокруг света» заменяли ему катание на коньках и лыжах, купание в речке, игру в городки, бабки...

После окончания начальной школы родители определили Ваню в трехклассное училище, у которого был педагогический уклон. Но учителем Ваня стал не сразу. В 1901 году ему исполнилось шестнадцать, и он устроился в контору Натальинского стекольного завода.

Осенью 1904 года Ряпасов экстерном сдал экзамены на учителя начальной школы в Екатеринбургской мужской гимназии. Но работы не было. Помог случай.

24 марта 1905 года во французском Амьене скончался географ и писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников научной фантастики Жюль Верн. Его книгами, проникнутыми романтикой науки, зачитывался весь мир. Жюль Верн был любимым писателем и молодого Ряпасова.

«Я... метил в русские Жюль Верны, – писал незадолго до своей смерти Иван Григорьевич Ряпасов брату Павлу, – однако судьба распорядилась иначе».



А тогда, в 1905 году, Иван Григорьевич написал статью «Памяти Жюль Верна» и отнес ее в редакцию газеты «Урал». Статью напечатали, автора пригласили на работу. Так он стал репортером на целых три года.

«Молодой и наивный случайно попал в редакцию, – писал позднее Ряпасов. – Живая, волнующая жизнь репортера захватила».

«Вечная беготня дала возможность столкнуться с неприглядной изнанкой жизни... Существовал впроголодь, при грошовом заработке», – вспоминал Иван Григорьевич.

Редакция газеты «Урал» заказывала Ряпасову в основном статьи о революционных событиях 1905-1907 годов: погромах, митингах, собраниях, забастовках, происходивших в Екатеринбурге. Но в этой беготне с митинга на митинг Ивану Григорьевичу удавалось выкраивать время на сбор материала и написание очерков о родном крае. Среди них выделяются исследования писателя о золотом промысле на Урале, о проекте соединения каналом рек Печоры и Камы, о добыче меди, «Юбилей изумруда» – об изумрудных копиях...

В 1906 году Ряпасову исполнился 21 год, и его чуть было не призвали в армию. Но медицинская комиссия признала Ряпасова негодным к строевой службе из-за несоответствия объема груди по отношению к его росту.

В 1907 году он женился на местной девушке. Звали ее Фелицата Аркадьевна Сахарова. Свадьба опустошила и без того тощий кошелек молодого репортера. А тут закрылась газета «Урал». В мае 1908 года он поступил репортером в газету «Уральская жизнь», проработал здесь до конца года. Печатали его редко, платили мало. Ряпасов рассылал свои



статьи в другие издания. В 1905-1908 годах его статьи печатали такие издания, как «Слово», «Торгово-промышленная газета», «Сибирская жизнь», «Земская неделя», «Русские ведомости».

В декабре 1908 года Ряпасова пригласили на должность секретаря редакции газеты «Пермские губернские ведомости», с которой он сотрудничал вплоть до марта 1917 года.

Объясним, то происхождение второго так и не выяснено. Но он оказался пророческим.

В 1912 году, когда Ряпасов начал работу над романом «Неведомый город», ему пришлось оставить редакцию «Пермских губернских ведомостей». Иван Григорьевич перешел в журнал «Вестник землеустройства Северного края», где он числился на должности секретаря, фактически же был редактором с 27 мая 1912 года по 20 мая 1913 года. Журнал выходил не так часто, как газета, и у Ряпасова было время для завершения романа.

«Неведомый город» стал первым воплощением в жизнь тех замыслов, которые рождались еще в Екатеринбурге в спорах Ряпасова с уральским писателем И.Ф. Колотовкиным: «...изобразить успехи науки и техники в ближайшем будущем, дать юношеству соответствующий материал для чтения».

После заметок, репортажей, статей, фельетонов, путевых заметок, рассказов, написанных и опубликованных Ряпасовым в 1910-1912 годах, роман «Неведомый город» – первое значительное произведение писателя. Иван Григорьевич предложил рукопись романа издателю еженедельного научно-популярного и иллюстрированного журнала естествознания и путешествий с ежемесячными приложениями для семейного чтения и самообразования Петру Петровичу Сойкину, который охотно печатал

подобные сочинения. Ряпасов отослал рукопись в Санкт-Петербург, на улицу Стремянная, 12.

Но последовал отказ. Затем отказали редакция иллюстрированного приложения к газете «Новое время» А.С. Суворина, издательство А.Д. Ступина, выпускавшее для детей «Библиотеку Ступина».

Ряпасов отправляется в Москву, затем в Санкт-Петербург. Цель одна – найти издателя романа «Неведомый город». Он обошел около десятка разных издательств. Когда в беседе с Ряпасовым выяснялось, что автор работал в провинциальных газетах, редакторы столичных изданий обыкновенно отвечали: «Ваша рукопись не заинтересовала издательство». Поездка в Москву и Санкт-Петербург лишь расстроила и без того плачевное финансовое состояние Ряпасова. Иван Григорьевич пытался найти работу репортера в северной столице, но ни одна редакция не приняла его предложение. В письме брату Павлу от 14 сентября 1913 года Ряпасов пишет о том, что совсем пал духом и что ему приходит мысль о самоубийстве.

В поисках работы он приехал в Бердянск. Здесь он становится редактором газеты «Эхо». Заработав немного денег, Иван Григорьевич снова едет в северную столицу. В письме брату Павлу от 14 октября 1913 года писатель с радостью сообщает, что роман «Неведомый город» ему удалось пристроить в издательстве М.М. Стасюлевича. С Михаилом Матвеевичем Стасюлевичем (1826-1911), русским историком, журналистом, общественным деятелем, редактором и издателем журнала «Вестник Европы» (1866-1908) Ряпасов не успел познакомиться. К тому времени его не было в живых. Издательство же после смерти писателя продолжало именоваться по фамилии его органи-



затора. Издательством Стасюлевича управлял в то время известный в будущем большевик, член Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Петрограда Михаил Константинович Лемке. Ознакомившись с рукописью романа, он предложил Ряпасову следующие условия: заглавие романа «Неведомый город» изменить, книга выйдет под названием «Гроза мира», все расходы по изданию и распространению книги издательство принимает на себя, автору за рукопись выплачивается гонорар в размере одна тысяча рублей. Но выплату гонорара издательство осуществит частями. Ряпасову за неимением средств пришлось согласиться. Забегая вперед, скажем, что Лемке остался должен Ряпасову за книгу семьсот рублей.

Книга Ряпасова вышла в 1914 году под названием «Гроза мира. Фантазия для юношества» и под псевдонимом И. Де-Рок. Положительные рецензии о «Грозе мира» напечатали московский «Вестник кинематографии», симферопольская газета «Южное слово», екатеринославская газета «Приднепровский край», бердянское «Эхо», «Пермские губернские ведомости»...

Мне долго не удавалось самому прочитать роман, чтобы составить собственное мнение об этой книге Ряпасова. Я обратился за помощью к посетителям Интернета, разместив в нем небольшое объявление: «Ищу роман «Гроза мира». Автор И. Г. Ряпасов. Роман напечатан под псевдонимом: И. Де-Рок». Вскоре из Санкт-Петербурга на мою электронную почту пришел сканированный роман: все 336 страниц. Я читал роман несколько дней. Написан свежо, читается с интересом и через сто лет после первой публикации.



Начавшаяся первая мировая война еще более ухудшила материальное положение Ряпасова. Он перебивался случайными заработками и писал. 30 марта 1914 года Иван Григорьевич завершил роман «Наследство Блома», который являлся продолжением первой книги. В романе 22 главы объемом 400 машинописных страниц. Ряпасов отослал рукопись в Петроград, в издательство Стасюлевича. Но к тому времени оно тоже обанкротилось, и рукопись была утеряна.

Ряпасов пытался найти работу в Екатеринославе, затем в Симферополе. Все попытки окончились неудачей, и он возвратился в Пермь.

До октября 1917 года Ряпасов напечатал также полтора десятка фантастических и приключенческих рассказов. Среди них «Великий инквизитор» (журнал «Кино Ханжонкова», 1914), «Урим и Тумим» (газета «Эхо», 1914), «На горе Арарат» («Ноев ковчег»), «Безумство храбрых», «В стальном шкафу» (журнал «Мир приключений», 1915).

Статьи Ряпасова в этот период печатали также такие издания, как «Школа и жизнь», «Русская Ривьера». Из богатого литературно-публицистического наследия И. Ряпасова мне удалось найти его статью «Тайна уральских пещер», но только не в «Пермской земской неделе», а в «Сборнике-ежегоднике Пермского Губернского Земства» (1916).

Из воспоминаний брата Павла известно, что в сентябре 1917 года Иван Ряпасов уехал на Кавказ. Во Владикавказе он намеревался редактировать газету, но Октябрьская революция, затем Гражданская война перечеркнули его судьбу, как и миллионов других.

До Владикавказа Ряпасов не доехал и остался в Ставрополе. Как оказалось, надолго. Он прожил



в этом городе почти четверть века. Здесь Ряпасов стал свидетелем многих событий, которые происходили в Ставрополе с сентября 1917 года по январь 1943 года. Он видел демонстрацию рабочих и солдат после октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, возвращение солдат с Западного фронта, создание Военно-Революционного комитета и, наконец, переход 1 января 1918 года власти к Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, образование Ставропольской советской республики...

Большевики упразднили органы управления Временного правительства, ликвидировали земства, распустили окружной суд. В конце марта 1918 года распущена городская Управа, в одном из ее отделов, продовольственном, служил Ряпасов. Новая власть предложила Ряпасову должность секретаря в отделе продовольствия Совета народных комиссаров Ставропольской губернии. Ряпасов согласился и всеми силами пытался устроиться в новой жизни. Освободилось место секретаря полиграфического отдела у комиссара по делам труда и промышленности, и Ряпасов перешел на новое место.

В 1918 году в жизни Ряпасова произошло событие, о котором он, спустя годы, вспоминал как о провидении божьем. Иван Григорьевич поехал по служебным делам в Армавир. Вернувшись через пять дней, узнал, что Ставрополь заняли матросы из отряда Медведева. Ряпасова и еще двоих пассажиров поезда арестовали вооруженные, обвитые пулеметными лентами матросы, привезли в казарму. Той же ночью состоялся революционный трибунал, во главе которого восседал матрос. Позднее Ряпасов писал о нем: «У него на морде было написано: «Все могу, что моя нога хочет!...»



«Обвиняемые» стояли перед столом, за которым восседал трибунал, а за ним блестело до пятидесяти штыков. «Скоропалительный» трибунал признал всех троих пассажиров «шпионами Керенского» и приговорил к расстрелу. Потрясенный происходящим, Ряпасов уверовал в свои стародавние прегрешения, и всю ночь перед расстрелом каялся Николаю Чудотворцу, Богородице. Утром Ряпасова и его спутников освободил комендант города Ставрополя, отменивший приговор. С того дня Ряпасов стал глубоко верующим человеком.

В ноябре 1920 года состоялся набор слушателей на курсы общеобразовательных знаний. Ряпасов – слушатель этих курсов. Прочувшись шесть месяцев и, получив документ об успешной сдаче экзаменов, Ряпасов поступил на работу в редакцию газеты «Власть Советов» на должность ответственного секретаря. Он пишет статьи на хозяйственные темы, рецензии на театральные постановки, фельетоны на местные темы. Выходили они за подписями И. Р., И. Р-ов, И. Востоков, Волжин. Не все статьи, которые писал Ряпасов, нравились редакторам, а их за время его работы сменилось трое: П. Юровский, Н. Анапский, Ал. Титков.

Ряпасов ушел из редакции после публикаций, которые не отвечали интересам новой власти. В одной из них Ряпасов рассказал о предложении снять с церкви колокола и продать их американцам не как произведение искусства, а как простую медь.

В 1923 году Ряпасов завершил работу над историко-географической хрестоматией Северного Кавказа, охватывающей жизнь и экономику Ставрополя, Кубани, Терека и Дона и предложил ее Государственному издательству художественной литературы. Рукопись была одобрена Госиздатом,



но так и не увидела свет. Но вот что странно: в эти же годы на эту тему вышли книги «Сельскохозяйственные районы Дона, Северного Кавказа, Черноморья и Дагестана», «Экономическая география Юго-Востока». Их автор – председатель Ставропольского совнаркома А. А. Пономарев.

В 1923 году альманах «Ставрополье» опубликовал статью Ряпасова «О собирании и значении огромных Ставропольских архивов за 300 лет». У Ряпасова никогда не было своего жилья. «В Ставрополе, – писал Иван Григорьевич брату Павлу, – я все время таскался по квартирам, платил по 50-70 р. за угол и редко за комнату. Питался по столовкам...» У него нет постоянной работы. Он работает хранителем архива, заведует отделом книжного магазина, специальным корреспондентом ростовской газеты «Голос юга» с ежемесячным окладом 75 рублей. В редакции «Голоса юга» он проработал вплоть до ее объединения с газетой «Молот». Но «как писатель в это время я был крепко и много занят писанием романа «Убей-конь», – вспоминал Ряпасов, – из времени первых красных партизан на Северном Кавказе и их вождей – Апанасенко Иосифе, Литвинова, Ипатова и др. Главный герой – вождь первого боевого отряда будущего конного корпуса. Я написал 22 главы из времен 1918 и 1920 гг.».

К сожалению, рукопись этого романа не сохранилась. Из писем Ряпасов известен лишь общий замысел романа.

В 1932-1936 годах Ряпасов – секретарь редакции газеты Туркменского района Ставрополя «Ленин-Байрачи». О работе в Летней Ставке – центре Туркменского района Иван Григорьевич с грустью вспоминал, что жить среди туркмен было довольно

скучно, и потому он все свободное время посвящал изучению этого края. Написал и опубликовал краткую историю туркменского и ногайского народов, кочующих на землях Ставрополья. Еще одно исследование было посвящено междоусобной войне туркмен и ногаев, их поземельным спорам с донскими казаками, набегам ногайцев на аулы черкесов, на кордонную линию... Все эти события происходили в 1770-1780 годах. Судя по письмам Ряпасова директору Научной библиотеки Молотовской области А. К. Шарцу, это было интересное исследование. Печаталось оно в газете «Ленин-Байрачи» в 1937-1938 годах. Его текстом, к сожалению, я не располагаю. Мне известно лишь краткое содержание этого исследования Ряпасова.

Развернувшееся на Ставрополье строительство Невинномысского канала не осталось без внимания писателей страны. Статью И. Ряпасова «Невинномысский канал» напечатал новый журнал «География в школе», основателем которого стал Н. Н. Баранский, известный в стране экономико-географ, заместитель председателя Московского филиала Географического общества СССР. Первый номер журнала «География в школе» вышел в 1934 году. Вспоминая об этой публикации, Иван Григорьевич писал: «Канал должен был соединить воды Кубани через реку Егорлык с Маньчской впадиной. И через это оросить безводные степи Ставрополья. Канал с тоннелем в шесть километров через гору Недреманную строился несколько лет. Статья напечатана в 1939-1940 годах».

Перед войной в академическом журнале «Наука и жизнь» Ряпасов напечатал статью «Редкое небесное явление», которое он наблюдал в Ставрополе в декабре 1939 года.



«Добрая половина всех моих писаний потеряна навсегда», – с горечью писал 19 апреля 1955 года Ряпасов брату Павлу и сестре Ольге. Перечисляя свои публикации, писатель нередко лишь обозначает их темы. Так до сих пор не установлено, в каком издании и когда опубликована статья Ряпасова о развалинах древнего хазарского города Маджары на реке Куме. Материалы для ее написания Ряпасову предоставил лучший знаток Кавказского края того времени Г. Н. Прозрителев.

...В августе сорок второго Ставрополь заняли немецкие и румынские войска. Ряпасову шел 58-й год.

«Гитлеровцы бомбили наш город в 1942 году с 9 часов утра до 5 часов вечера. Аэропланы летали сверху и сбрасывали 30 и 60-пудовые бомбы на нас, а мы лежали во дворе под деревом и каждую минуту ждали смерти. Откровенно скажу, что это было страшно. Но Всемогущий помиловал нас. А потом... уже ничего не было страшно. Как-то трое суток были под артиллерийским обстрелом и я до того рассердился, что ходил по улицам, где валялись столбы, стены домов, а мне было все равно. Ожесточается человек и ни о чем не думает», – писал Ряпасов 10 марта 1955 года брату Павлу.

Так в жизни и судьбе Ряпасова начались новые великие несчастья. И они продолжались вплоть до его смерти. Школы при немцах не работали, и никакого жалованья Иван Григорьевич не получал. Он работал у немцев, они использовали его как разно-рабочего, грузчика. Его, уже немолодого человека, немцы мобилизовали на земляные работы, а затем и вовсе угнали – сначала на Украину, в Кировоград, затем в Галицию, Польшу, Австрию и Чехию.



«Возили нас гитлеровцы, как рабочую скотину, – писал Ряпасов 10 марта 1955 года брату Павлу. – Мы, тысячи пленных всякого рода: русские, поляки, французы, чехи, сербы, итальянцы, словаки, словенцы, – употреблялись то на сельскохозяйственные, то на земляные работы. Я с больными ногами работал с 4 часов утра до 8 часов вечера, было так тяжело, что я неоднократно просил смерти, а она не приходила. Кормили плохо ...».

В апреле 1945 года узников концлагеря Добролазница, близ Брно, освободила Красная Армия. И они все вернулись на родину. А высохшего согбенного человека с рыжеватой бородкой клинышком привезли в Кировоград. В 1949 году война снова догнала его. В сорок девятом Ряпасова за то, что работал у немцев, а у следователя это звучало как «сотрудничество с врагом», арестовали и передали дело в суд. Очередной «скоропалительный», на этот раз Кировоградский областной суд, 31 августа 1949 года осудил Ивана Григорьевича Ряпасова на 25 лет принудительных работ с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях. Так, в 64 года Ряпасов снова стал каторжником, которому надлежало провести остаток жизни за колючей проволокой. Сначала его отправили в Александрийский лагерь, в 57 километрах северо-восточнее Кировограда. Весной 1953 года Ивана Григорьевича перевели в лагерь города Чернигова. Осенью 1953 года его отправили в лагерь Хромтау, что в Актыбинской области.

После смерти Сталина определением Актыбинского областного суда от 27 сентября 1954 года Ряпасов был освобожден. Он возвратился, но не домой, а на Украину, в Кировоград. По ходатайству



друзей Ивана Григорьевича его определили в дом инвалидов села Гельмязово Черкасской области. Но здоровье было подорвано окончательно. Испытывая страшные муки и боли, Иван Григорьевич почти не вставал с постели. В эти самые тяжелые для писателя месяцы нашлись его родные сестра Ольга, братья Павел и Федор, их дети – племянники писателя. Их переписка оказалась недолгой: она началась 16 февраля 1955 года и оборвалась 3 сентября 1955 года. В этот день на 71-м году жизни умер писатель И. Г. Ряпасов, который говорил о себе: «Я... метил в русские Жюль Верны, однако судьба распорядилась иначе».

Крестьянская Русь в изображении Якова Абрамова

Яков Васильевич Абрамов (1858 – 1906) – первый профессиональный ставропольский писатель – вошёл в историю России последних десятилетий XIX – начала XX века как мыслитель, прозаик, вдохновенный публицист-просветитель, литературный критик, общественный деятель, всецело подчинивший своё творчество, свой труд целям мирного прогресса страны. Имя этого выдающегося, энциклопедически образованного представителя демократической интеллигенции Северного Кавказа, культуротворческая деятельность которого стала явлением общенационального значения, неразрывно связано с историей легального, реформаторского народничества второй половины 1880-х – начала 1890-х годов, то есть периода второго «хождения в народ», «хождения на великую культурную работу».



**ВЯЧЕСЛАВ
ГОЛОВКО**

**Литературо-
ведение**





Приехав в 1880 году из губернского Ставрополя в Петербург, Я. В. Абрамов сразу же активно включился в литературную работу. М. Е. Салтыков-Щедрин, предложивший ему сотрудничество в самом лучшем в то время журнале демократического направления – «Отечественные записки», прозорливо разглядел в молодом писателе «талантливого», «толкового человека». Как яркий публицист и прозаик Я. В. Абрамов очень быстро становится широко известным в России.

В народническом лагере знаменитый ставрополец занимал особую позицию: традиции демократического просветительства 1860-х – 1870-х годов он творчески развивал, соотнося программу «постепеновства снизу» с задачами «работы в народе» во имя «просветления его сознания» и освобождения от «материальной нужды». Эти и другие задачи развития «человеческой цивилизации» он ставил в статье «Малые и великие дела», опубликованной в петербургском журнале «Книжки "Недели"» (1896), обращаясь прежде всего к демократически настроенной интеллигенции, к молодому поколению. Известно, что на призыв Якова Абрамова, ставшего поистине «властителем дум» русской молодёжи восьмидесятых – девяностых годов XIX века, откликнулись тысячи и тысячи юношей и девушек, которые шли работать в школы, больницы, в земские учреждения, в библиотеки, поднимали производительность народного труда, совершенствовали сельское хозяйство.

Уже первые оригинальные произведения Я. В. Абрамова – «Бабушка-генеральша», «Мещан-



ский мыслитель», «Механик», «Среди сектантов» (1881), «Корова», «Ищущий правды», «Как меленцевцы искали воли», «В степи», «Неожиданная встреча», «Хлудовщина» (1882), «Босая команда» (1883) и др.), печатавшиеся на страницах демократических («Отечественные записки», «Дело», «Слово») и народнических изданий («Устой» и др.), свидетельствовали о том, что писатель, относящийся, по словам известного в те годы публициста Л. А. Полонского, к «образованному и работающему классу», который «вербуетя из народа», в качестве главной своей цели рассматривал изучение «воли массы», особенностей «национального развития».

«Будущность России» Я. В. Абрамов связывал с уяснением факторов общественного и нравственного прогресса в сложных условиях утверждающегося капитализма, усиливающегося расслоения русского общества, с познанием «силы и способности русского народного духа», «умственной деятельности русского народа», его способности «к творчеству новых форм жизни». В своих художественных произведениях он показывал, что в условиях жизни «не по совести, не по-Божески» только самоотвержение может помочь человеку обрести веру в силу «любви, объединяющей людей».

Я. В. Абрамов стремился художественными средствами анализировать процессы разрушения старых патриархальных норм общественного быта и морали («Бабушка-генеральша», «Ищущий правды», «В степи»). Он показывал расслоение в деревне, формирование «типа деревенского ку-



лака» («коммерсанта»), обнищание «обираемых мужиков» и городской бедноты, «разорение и закабаление населения» («В степи», «Как мелентьевцы искали воли», «Корова», «Иван босый»), усиление власти денег, капитала, появление «культы золотому тельцу» и утрату «чистой совести», «гуманных привычек», объяснял причины всё более усиливающегося сектантского движения в России («Среди сектантов», «В степи», «Иван босый», «Ищущий правды»). Тип «деревенского кулака», «коммерсанта», «капиталиста», недавнего крестьянина-общинника, воссозданный в таких произведениях Абрамова, как «В степи», «Ищущий правды», «Неожиданная встреча» и др., характеризуется отсутствием всякой «гражданской ответственности»: его «деятельность» подчинена одной цели - «наживе», и с этой целью он «эксплуатирует все отрасли народного труда», занимается «ростовщичеством и торговой эксплуатацией», скупает «пожалованные... военным и чиновникам земли», «прибирает к рукам "мир"» («В степи»).

В своих художественных созданиях Я. В. Абрамов запечатлел разложение общины, «сельского общества» («В степи»), выявлял причины вынужденной миграции крестьян, бывших крепостных («Неожиданная встреча»), описывал условия крестьянского труда, нередко опасного для жизни, бесправие, незащищённость трудового народа («Как мелентьевцы искали воли»). «Невероятность», «фантастичность» пришедшей в движение русской жизни в его произведениях приобретают характер всеобщности, не сводимости к



быту: герои Я. В. Абрамова выбиты из «наезженной колеи», из привычной системы ценностей, их «больно мучает деревенская неправда» («Ищущий правды»), они видят, что «мир во зле лежит» («Мещанский мыслитель»), что люди перестали «жить по добру» («Бабушка-генеральша»), что рушатся устои «мира», «общества» («Ищущий правды»), распадается патриархальная семья. При этом надо не забывать, что и «прошлые времена», когда крестьяне находились в «крепостной зависимости», описывались Абрамовым в такой же обличительно-реалистической манере («Как мелентьевцы искали воли»).

Писатель зафиксировал появление первых симптомов сознательного протеста, пробуждения чувства личности. У многих его героев тогда начинает «мысль работать», когда они «задумываются над людскими отношениями», над «житейско-нравственными вопросами» («Иван босый»). Художественное творчество Якова Абрамова в полной мере отвечало задаче «открытия значения личности на почве значения массы», сформулированной в те же годы его великим современником В. Г. Короленко.

«Эпизод из доброго старого времени» «Как мелентьевцы искали воли» впервые опубликован в журнале «Отечественные записки» (1882, № 7), а рассказ «Иван босый» был включён автором в его первый сборник рассказов «В поисках за правдой» (Санкт-Петербург, 1884), который не дошёл до читателя, так как из-за резко критического изображения русской действительности пореформенного времени в произведениях, во-



шедших в эту книгу, весь её тираж по распоряжению цензуры был уничтожен непосредственно в издательстве Ф. Ф. Павленкова и типографии А. М. Котомина, где она была отпечатана. Сохранился единственный экземпляр сборника рассказов Я. В. Абрамова «В поисках за правдой», который находится ныне в Отделе редкой книги Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Рассказ «Иван босый» публикуется по данному изданию.

Я – кавказец

моноспектакль

Я – кавказец..
Что, не похож?..

А некоторые говорят, похож...

Когда пацаном с родителями в Сибирь приехал, считали, что похож... Может потому, что нос не курносый... И загар хорошо пристаёт...

В Сибири в те времена, как и сейчас, кавказцев особо не было. А те, что были, из общей массы не выделялись. Лезгинку если танцевали, то исключительно по праздникам и в помещении. Или когда их чествовали за ударный труд. Как, к примеру, нефтяников, когда те нефть находили. Среди них немало было кавказцев. В остальных профессиях тоже встречались, но нечасто. Единичные особи.

На рынках?.. Да, на рынках не единичные.

Грузины в основном.
С цветами и фруктами..
С усами...

Сейчас вот усы приклею..
Похож?..

Ага, «аэродрома» не хватает.
Вот, надел.
Теперь похож?..
Вот и я говорю...



**ВИКТОР
КУСТОВ**

**Публици-
стика**





Не знаю, как сейчас, а во времена моей юности и в Иркутске, и в Красноярске мимозу на Восьмое марта только у них можно было купить.

Вот сейчас вспомню... Да, примерно так:

«Случай, малчык, купи сваей дэвачка... Дэвачка рада будет, пацелуй даст...»

Смелый народ, между прочим. Сибирь, мороз под тридцать, а то и за, а они в осенней одежонке, с «аэродромом» на голове...

А отчего у них «аэродром» в почете?..

В России в советские времена шляпа была в почете, а у них – «аэродром»... А вы представьте: в шляпе и мимозой торговать...

Вот так...

Купите у такого?..

Не купите.

А теперь кепчонку, которую московский мэр времен капиталистической интервенции и оголтелой приватизации в моду ввел...

Сейчас, под него...

А теперь купите?..

Вот именно...

«Аэродром» – это имиджевый атрибут торговца. Опознавательный знак. Издалека виден. Как светофор. Нельзя не заметить.

А шляпа... Ну, шляпа, это скорее фонарь... Который днем выключить забыли, вот и бросается в глаза, хотя совсем не нужен.

А кепочка мэрская – это хотя и не «аэродром», но намекает, что-то у ее обладателя есть на продажу, только надо не во всеуслышание спрашивать, приватно...

Но это я так, к слову... Отступление от темы. Импровизация.

Н-да, сам не ожидал, что к таким выводам приду...

Так о чем я?.. Ах, да, об истории.

Я впервые море увидел, когда студентом был. Каспийское. Есть в Азербайджане такое местечко, где нефтяные вышки из моря не торчат. Тогда не торчали, теперь не знаю. Бузовны называется. Это на электричке от Баку чуть больше часа ехать. Железная дорога вдоль берега идет. По одну сторону насыпи в том месте пляж большой и море. По другую – то, что дачами называлось: домики на песке и кусты виноградные...

Не вру, так было. Сейчас, наверное, виллы стоят, не узнать...

Я там одно лето жил. Отдыхал после сессии. Мой знакомый своего знакомого, бакинца, капитана каботажного плавания, уговорил мне, студенту, прикатившему из холодной Сибири, чтобы отогреться, разрешить на его даче пожить.

Жаркое лето было. Вода в море под тридцать градусов, на суше за тридцать. Медуз мелких... Удобнее всего было без плавок плавать, тогда некуда им забиваться... До обеда в море еще терпимо, а потом свариться можно. И ночью никакой прохлады. В мокрую простыню...

Вот так... То ли римлянин, то ли грек древний... Завернусь, посплю, пока от сухости она не захрустит, и по новой... Так раза три за ночь.

Была у меня там знакомая... Девочка... Зуля. Зульфия. Губы тонкие, злые... Лицо маленькое, смуглое. Да и сама вся маленькая, гибкая... Нет, ничего не позволяла, только целоваться. Времена такие были. Нравственные... Азербайджанка. Но, похоже, с примесью турецкой крови...

А еще был дедушка Хасан. Мы с ним вдвоем на все дачи бездельничали... Нет, вру, бездельничал я. Дед Хасан сторожил дачи. По-русски он знал: «малчык»; «ходы суда»; «ай-яй-яй», «дэвачэк нэлза»... А может, и больше знал, но ленился язык ломать.



И у него была большая палка-посох...

Вот эта...

Нет, конечно, шучу. Я бы ее не сохранил за столько лет. Да и дедушка не отдал бы. Скорее отходил бы этим посохом...

Он вставал раньше меня. Может, даже раньше солнца, потому что, когда я шел к морю, он уже сидел на железнодорожной насыпи. Насыпь была довольно высокой, и с нее хорошо просматривались все дачи.

Он молча отвечал на мое робкое «здрасьте» и провожал пристальным взглядом выцветших глаз из-под кустистых седых бровей, который не скрывал знания всей моей подноготной...

...А вообще азербайджанцы веселые и добрые люди. Только в отличие от грузин не такие шумные. Но также к деньгам, как к мусору, относятся. Относились тогда во всяком случае. Надо тебе что-то купить, давай, что у тебя есть, никто в обиде не будет... В автобусе мелочи сколько загреб, водителю отсыпал, тот мелочиться, пересчитывать не станет. А нечего сыпать, было у меня такое, иди так, с Аллахом...

А город Баку мне понравился. Набережная красивая. По старому городу побродил. Не один. В метро от жары прятался. Не московское, конечно, но под землей...

И национальных мелодий наслушался...

Теперь как услышу эти звуки, чувствую волнение...

Зной в них.

Шуршание песка.

Шелест теплой волны.

И тонкая Зуля...

Сейчас звук добавлю...

А еще. Муслим Магомаев... Полад Бюль-Бюль оглы...

Кого послушаем?..



Давайте Полада, его мало кто сейчас помнит...

...В Тбилиси я только проездом был.

«Мимино» много раз смотрел.

А еще «Не горюй». Очень понравился. Замечательные в этом фильме грузины. Не унывающие, темпераментные, щедрые...

«Боржоми» доставал по блату, когда студенческое питание на желудке отразилось.

Теперь вот покупаю свободно в магазине. Правда, совсем недавно завозить разрешили. Даже «Боржоми» разрешение власти требуется...

И этикетка другая. Произведено уже не в Грузинской Советской Социалистической Республике, а... сейчас посмотрим... в Грузии.

«Бабушку, Илико и Иллариона» читал.

Нодар Думбадзе написал.

Грузин.

Может, кто еще помнит. В одной стране все-таки жили...

Вот эту его книжку я в библиотеке нашел.

Прочту. Чуть-чуть... О грузинской любви.

«Справа от моего села протекает река Губазоули, слева – небольшая речушка Лаше, кишащая крабами, бычками и босоногими мальчишками. Через Губазоули перекинут мостик. Каждой весной взбушевавшаяся река уносит его, оставляя только торчащие из воды сваи. И все же мое село самое красивое и веселое в Гурии. Я люблю его больше всех сел на свете, потому что нигде не может быть другого села, где жили бы я, бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада...»

Дальше сами, если захотите, прочтете.

Я думаю, в библиотеках книги Думбадзе еще сохранились. Хотя для многих Грузия сегодня ассоциируется с другой фамилией. И с любовью к другой далекой заморской стране... К другим ценностям.

Эти другие ценности в какой-то мере коснулись и меня.



Один из родственников Думбадзе, я думаю, все-таки из дальних родственников, самых дальних, сильно меня огорчил. Уже когда по разным странам мы разбежались. Немножко, как это сказать поделкатнее, нечестным оказался...

Но я не сомневаюсь, это дальний, очень дальний родственник, хотя и фамилия у него такая же...

А так больше с грузинами дороги не пересекались.

Если, конечно, не считать самого великого грузина, который державу создал, когда меня еще и в помине не было. И в этой державе я потом рос и вырос. И много чего узнал и пережил, пока держава великого грузина не рассыпалась...

А последнее время ни в кино грузин больше не вижу, ни книг не встречаю, и грузинского, такого оптимистичного, мужского многоголосья за щедрым по-южному столом, не слышу...

Жаль, если в памяти других народов только «аэродром» и останется...

В Ереване я тоже коротко был.

В командировке.

Только и успел в знаменитый Сардарapat, музей этнографии, заглянуть. Правда, смутно уже помню, что там меня поразило. Думаю, прежде всего непостижимость времени.

Ну, а Ереван, как и большинство старых городов, и похож, и не похож на многие другие такие же древние. Я, честно говоря, архитектурным памятникам и музеям предпочитаю движение улиц. Нравится прохожих разглядывать. Выражение лиц...

У армян – контрастные, запоминающиеся.

Отношения наблюдать... Землячеством они крепки. Вероятно, следствие пережитого в двадцатом веке. В начале века – турецкое нашествие, в конце – разрушительное землетрясение в Спитаке...

Характеры... Как у всех народов, разные..

Черты... Наверное, трудолюбие... Во всяком случае, трудолюбивых армян я на своем веку больше встречал, чем ленивых...

Армяне по обе стороны Кавказского хребта живут. Трудно сказать, на какой стороне их больше.

У меня друг был, Леша. По эту сторону хребта.

Отец – русский, мать – армянка. Дед по матери – купец первой гильдии.

Армяне умеют торговать. Когда казаки ставропольскую крепость заложили, без них обойтись не смогли, некому было товар привозить. Пригласили. Офшор гарантировали. Те рынок основали, первые улицы вокруг него под крепостной стеной выстроили...

Так вот, Леша точно знал, что дед его, ростовский купец, где-то в своем саду, который потом вместе с особняком стал территорией советского учреждения, клад зарыл. В то время миноискатели еще свободно не продавались, поэтому, прежде чем нам темной ночью отправиться на поиски спрятанного от реквизиции советской властью Лешиного наследства, надо было этот военный инструмент добыть.

...Нет, не такой... Это уже современный. Теперь клады можно свободно искать.

А мы пару лет искали доступ к военным закромам, думаю, уже на примете у контрразведки были. Но не успели продажного интенданта найти, грянула перестройка, не до кладов было...

Потом Леши не стало... Молодой был, а вот не выдержал перемен...

Другой друг, чистокровный армянин, на той стороне Кавказского хребта детство оставил. Родная сестра тоже там. А на этой стороне женился на русской девушке. Дом построил. Сынов вырастил. Родителей уже на этой стороне похоронил...



...В прошлом веке две большие охоты на людей были. Сначала на армян. Потом на евреев...

Армяне вторыми после евреев христианство приняли.

И Арарат, их священная гора, в Турции. Хотя хорошо из Еревана видна.

Вот такая у них история.

А у меня короткая командировка была. К пограничникам. Еще советским. В Октемберянский район. На заставу.

С заставы до Арарата тоже рукой подать... Впечатляет.

Жаркие дни были, середина лета, а тут белоснежный конус перед глазами. Взглянул- и уже не так жарко...

На турецкой стороне за речкой муэдзин периодически на молитву приглашал. В аккурат над мечетью и вздымалась пристань Ноя... Я у погранцов бинокль брал, чтобы разглядеть муэдзина. Ну и Арарат, естественно.

...Это уже современный бинокль, у погранцов полевой был...

И вот, как сейчас, все смотрел, смотрел... Но так ковчега или что там от него осталось не разглядел...

Муэдзина?..

Муэдзина разглядел. Старичок. Худенький. С седой бородкой, такой длинной, клинышком...

А может, не увидел ковчега, потому что вглядеться времени не хватало. С утра жизнь пограничную разглядывал, а по вечерам с офицерами предавался застольным беседам. В первый день комсомольские активисты с Октемберяна, ныне Армавир называется, нагрянули. С канистрой коньяка. Прямо с завода, из дубовой бочки.

Коньяк армянский, я вам скажу, самый лучший был в те времена. Тем более, с завода, без обмана.



Я думаю, он и сейчас самый лучший, поэтому его и заставили называть арманьяком. Честной конкуренции ведь не бывает, это отмазка, мол, французы первые... Пил я французский, не лучше. А на мой вкус, так хуже... Если только настоящий армянский, а не подделка.

Так вот, канистра стояла возле стола, и лейтенантик, недавно прибывший на заставу, виночерпием был. Разливал по старшинству. Сначала гостям – таков закон гостеприимства на Кавказе, потом старшим по возрасту. И только после этого старшим по званию... Ну а ему, как шопе, то есть обслуживающему персоналу, пить не позволялось. Так, пригубить...

Н-да, интересные у нас беседы были. Интернациональные...

Ну и пару раз я с дозором границу обошел.

Через контрольную полосу при мне только звери ходили.

А на турецкой стороне, так же, как на нашей, тогда мирно жили.

На этом мои познания о той стороне Большого Кавказского хребта исчерпываются. На той стороне только бывать довелось. Жить – на этой.

Одни горные вершины только с разных сторон видим.

Раньше знали, теперь больше догадываемся, что по обе стороны неплохие люди живут.

По эту сторону, где я живу, государство одно, а народов множество. И у каждого своя история.

Когда попал в эти места, первое время голова закружилась. Потерял ориентацию во времени и пространстве. Так потерял, что мои новые знакомые решили меня привести в чувство традиционным методом. И собрались мы, представители разных национальностей, на даче у молодого в те времена



карачаевского писателя Муссы Батчаева на его даче над только что опавшей после паводка Кубанью.

Это сегодня он классик, а тогда был просто талантливый автор.

И дачка у него была по стандартам того времени – маленький, в одну или пару комнат, домик с увитой поздним винным виноградом верандой. На ней за столом мы и сидели. Июньским южным томным вечером.

Зной уже спал.

Наступил час блаженного ничегонеделания.

И душевного отдохновения.

Классик еще не знает, что он классик, и ведет себя как простой смертный. Пьет вино и поддерживает разговор.

О чем?

О том, о чем в то время не принято было говорить официально.

О депортации карачаевского народа и возвращения на родину.

Юсуф Созаруков, тогда начинающий карачаевский поэт, пишущий на русском языке, помнящий казахские степи, обиды не скрывал.

Мусса – постарше, помнящий больше и лучше, выдержаннее.

У него уже несколько книг переведены на русский и вышли в Москве.

Я сейчас одну покажу...

Вот она.

А в этом сборнике есть повесть «Аул Кумыш».

Кто бывает в Теберде или Домбае по дороге через Черкесск, его обязательно проезжает. Большой аул. Родина Муссы. Здесь он и похоронен.

«Не приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в обычном карачаевском ауле, известном, прямо скажем, лишь тем, что он никому не известен? Почему? Да потому, что такой аул прячется в горах, в укром-

ном месте, в стороне от людских широких дорог. И ты будешь прав, если скажешь, что он, по всей вероятности, непричастен к существованию на земле всех семи больших и семидесяти мелких чудес. Ты прав – к этому он непричастен.

Итак, будь у нас гостем, путник!»

Будь гостем, приглашает карачаевский классик Мусса Батчаев.

Гостю уважение и защита.

Завоевателю – отпор.

Я вот задумался тут, как от толерантности, то есть терпимости, к дружбе вернуться.

Чем можно объединить множество народов, собранных в этих предгорных и горных местах?..

И была ли дружба в державе под названием СССР?

Была.

И русских в Грозном, Махачкале, Нальчике, Черкесске много жило. И не боялись друг друга. Не точили кинжалов. Заводы строили, землю пахали... Национальную интеллигенцию взращивали...

Не элиту. Элита – это у животных. Это когда больше, но не умнее.

У интеллигенции главное богатство не в кормушках да на счетах – в интеллекте. Оттого и понимала интеллигенция национальных меньшинств, какую возможность ей советская власть предоставила: своей маленькой культурой войти в большую, бессмертную... Своей краской, нитью влиться в волшебное большое полотно...

Между прочим, у карачаевцев собственная письменность появилась только в начале прошлого века, уже после Октябрьской революции.

А вообще карачаевцы – потомки половцев. Так ученые считают. Но не все. Половцы были степняки, а карачаевцы живут в ущельях....



А вот калмыки были горцами, а теперь живут в степях. Поэтому Пушкин и выправил «сына степей» на «друг степей калмык»...

Далеко их занесло в свое время от прародины. Но религию собственную не растеряли по дороге.

А в ущельях мир другой...

Довелось мне бывать в карачаевском ауле, выше которого только белые вершины, а верхушки деревьев остаются под подошвами. И услышал я там такую легенду. Жила в этом ауле перед Великим Октябрем воинственная карачаевка, которую даже мужчины уважали и слушали. И когда докатилась сюда молва о том, что творится в долине, решила она закрыть свой аул, свою страну от враждебного мира. Там, где Кубань прорезала самое узкое ущелье, поставила отважных джигитов, чтобы те никого не пропускали. Но все-таки прошел как-то отряд то ли красных, то ли белых и забрал то, что хотел, прежде чем перейти в другое ущелье. Тогда она решила завоевать неведомую ей Москву, откуда те пришли. Для этого, она посчитала, исходя из численности прошедшего отряда, ей нужно было двести отчаянных джигитов. Молодых, горячих. И велела она собрать всех подростков в одном месте и обучать их воинскому искусству...

У этой легенды не ясен конец. Воспитала ли она подростков в отчаянной любви к родному ущелью и в непримиримой злости к внешнему миру или не успела?..

А может эту легенду придумали уже после возвращения из изгнания аксакалы для укрепления духа.

Но что точно было это – наказ старейшин тем, кто возвращался: на родной земле рожать без устали, чтобы народ множился и занимал свою землю, вытесняя чужаков...



Да, несколько слов о калмыках...

Это ведь тоже Кавказ. Его история, во всяком случае.

У этого народа вера самая древняя и мудрая.

Настолько мудрая, что их не слишком и видно.

А история длиннее многих шумных государств-новоделов.

Такая же длинная история и у ногайцев.

Те тоже спокойные... Словно знают неведомое остальным....

Народы как люди: рождаются, взрослеют, стареют...

Юные народы – драчливые.

Старые народы – мудрые.

У старых народов и летописцы мудрые.

В те времена, когда познакомился с классиком карачаевской литературы, я и с классиком ногайской подружился. И был тогда Иса Капаев молод, но уже известен далеко за пределами своей родины. Всей читающей страны. В журнале «Юность» печатался.

Сейчас покажу, как этот журнал в те годы выглядел.

И книжки у него в Москве уже выходили.

Вообще Москва в то время любила кавказцев.

Вот, прочту для затравки, как раньше писали...

«Быстрая езда на грузовике волнует не меньше, чем стремительная скачка на горячем аргамаке. Я стою, опираясь руками о железо кабины, нахлобучив кепку на самые глаза. Встречный ветер, перемешанный с песком и пылью, хлещет в лицо. Впереди необъятная, пахнущая зноем степь. Синий горизонт как бы в одной упряжке с солнцем – не догнать ни на каком скакуне... Белые ковыли, серые полынные, зеленые разливы люцерны, желтизна пшеничных полей мчатся навстречу. Кажется, все однообразно в этой степи. И вдруг среди седого ко-



выля, как неожиданная мысль – сверкнет одинокий алый мак...»

Что тут скажешь... Орда. Хан Ногай и его потомки.

Немного осталось от этого великого народа.

И черкесов теперь не намного больше.

Черкесы прославились черкеской с блестящими газырями и буркой.

Черкеска – это бальное платье для джигита.

Вот, надел – и я уже джигит.

Бурка – это маленький домик на одного.

Накинул сверху на плечи...

Теперь ветер, дождь, метель не страшны...

А прославлены черкесы Михаилом Юрьевичем Лермонтовым историей о красавице Бэле...

Это вы знаете.

Еще один народ с историей, разделенный хребтом, – абазины – абхазцы...

Народы-братья...

По разную сторону Кавказского хребта.

В девяностые годы прошлого века мой знакомый абазин Азамат, бывший комсомольский, а затем партийный функционер, немало средств и сил вложил, помогая своим братьям стать свободными... От грузин...

До этого я не сомневался, что эти два народа, грузинский и абхазский, – братья.

Что Нодар Думбадзе и Фазиль Искандер – братья.

Вот у меня томик Искандера. Этот искать, как книгу Думбадзе, не пришлось. Искандер давно уже не был на своей родине. Можно сказать, он по месту проживания – москвич. Но не по прозе...

Вот, прочту, чтобы поняли, что я имею в виду...

«Порывы озонистого воздуха порою трепали его голос, как бельё на веревке, иногда слишком сильный

порыв ветра, оборвав кусок недослышанной мелодии, уносил его с собой и вышвыривал ее на берег.

Иногда наоборот, как бы заталкивал назад в его поющий рот уже спетую часть песни, но Арменак, напружинившись, вышибал ее из глотки последующим куском мелодии, и в воздухе несколько мгновений дребезжали куски мелодии, заклинившиеся и рвущиеся в разные стороны, как сцепившиеся собаки».

Это из «Сандро из Чегема».

Да, беспокойно стало на Кавказе в конце прошлого века...

Одна война заканчивалась, другая назревала...

Осетины – народ маленький, но гордый.

Впрочем, как все горцы.

Я во Владикавказе на военных сборах был.

Служить в армии не довелось, военная кафедра была, офицерское звание получил.

Лейтенанта...

А военная форма мне идет.

Сейчас оцените...

...Вот как китель сидит...

Живот сразу втянулся, плечи шире стали...

Не понимаю, отчего пацаны от армии косят. Надо же где-то себя мужчиной в полной мере ощутить...

Сейчас вот еще фуражечку...

Вот так...

Теперь другая форма, в ней таким молодым трудно выглядеть...

Так вот о сборах. Для информации: в Советском Союзе офицеров и солдат, вышедших в запас, периодически собирали для повышения военной квалификации. Узнать, что в уставе, тактике, вооружении изменилось, и пострелять на полигоне. Из боевого оружия и из прочей техники, если к ней приписан.

Владикавказ – город с историей.

Через него шла единственная дорога, Военно-Грузинская, на Тифлис-Тбилиси. А там дальше и в



турецкий Арзрум, куда Александр Сергеевич Пушкин съездил и путешествие это описал.

Во Владикавказе врач Михаил Булгаков прожил почти целый год. Одна тысяча девятьсот девятнадцатый.

Здесь появился один из первых русских театров на Северном Кавказе.

Это после перестройки Северная Осетия стала основным производителем водки. До этого другие ценности преобладали...

Но в этом городе всегда было много военных.

Мы тоже там на сборах изучали, что еще изобрели люди для убийства друг друга. На полигоне тренировались поражать мишени. Хорошо, что картонные.

У меня получалось.

Я все-таки когда-то охотился.

Пока не понял, как это неправильно – лишать жизни беззащитное существо.

Оправданием может служить только необходимость защититься или выжить.

Спортивная охота – это убийство.

Для кого-то Чечня была спортивной охотой...

А у Льва Толстого кунак был, чеченец Сато. Толстой ему плохонькое ружьишко подарил, а Садо в ответ дорогую шашку. А потом и коня. И от своих воинственных соплеменников защитил... Можно сказать, русскую литературу спас...

Выходит, им война была не нужна.

А кому она нужна?..

Никто не сознается.

Я не везде на Кавказе был.

Но много имен знаю.

Имен, впечатанных в историю.

И это не имена толстосумов или начальников.

Это имена тех, кто ткал общий ковер духовности. Ковер дружбы.

Кайсын Кулиев – балкарец. Алим Кешоков – кабардинец. Разные народы, разные культуры. И человеческая дружба до конца дней. И оба в памяти народной.

Расул Гамзатов – певец, без которого Дагестан без голоса.

*«Веками учил ты и всех и меня
Трудиться и жить не шумливо, но смело,
Учил ты, что слово дороже коня,
А горцы коней не седлают без дела.
И все же, вернувшись к тебе из чужих,
Далеких столиц, и болтливых и лживых,
Мне трудно молчать, слыша голос твоих
Поющих потоков и гор горделивых».*

Это Гамзатов о своей родине, о Дагестане.

Тем, что есть, не дорожим... Не дорожили, поэтому и державу разрушили.

Всем так захотелось свободы, самостоятельности...

А ведь неплохо жили на национальных окраинах. Лучше, чем в русской глубинке – на той смоленщине или вологодчине...

И примеряла местечковая власть, уставшая от догмата Москвы, как малыш одежку взрослого, как бы сама распоряжалась... И как тот же подросток, уверена была: знает лучше и больше взрослого... Не подозревая, что заводы, фабрики, колхозы и все, что работало при советской власти, при импортируемом с Запада новом строе полных прилавков не нужны станут.

Думали, что изобилие товаров важнее дружбы.

Не ведали, что Западу своего наработанного, произведенного, выращенного девать некуда и не заводы нужны в большой стране, а большой, голодный, жадный до материального изобилия базар.



Ишак, перед которым так долго маячил клок сена, вдруг понял, что может его достать...

Нет, мы конечно не ишаки. Но иногда бываем не умнее их.

Обижены были чеченцы, карачаевцы и те же калмыки на власть Советов?

Обижены.

Но не более, чем столичные диссиденты.

Вернувшись в родные места после изгнания, они жили бок о бок с русскими.

А мы бок о бок с ними.

Вместе строили, производили, выращивали...

Они женились на русских... И наоборот.

Детей рожали, которые одинаково два родных языка знали.. Две культуры.

*Говорят, я не сын
этих гор, этих рек –
Не потрафил строкой
ритмам горского вкуса.
Не услышал стихов
седоглавый Казбек,
Не затеплилась песнь
в изголовье Эльбруса.
Лгут. Бессовестно лгут!
Я метался меж скал.
Шат-гора и Казбек –
тема тайны глубокой,
Ведь не зря же здесь гений
поэта витал,
По ущельям струя
свет души одинокой.
Он терзался и пел.
Я шагнул ему вслед
И с вершин оглядел
дорогие просторы,*

*И, как тысячи стрел,
в сердце скопища бед,
Стон берез и полей
обреченные взоры.
Да, там горе и скорбь!
И я ринулся с гор
В бой за Русь, как солдат,
от родного порога.
Пораженья мои –
дням бесстыдства укор,
Я же пел и пою,
что далось мне от Бога.*

Это стихотворение из вот этого томика «Моя журавлиная Русь» народного поэта Карачаево-Черкесии Михаила Бегера.

Он родился в Черкесске, здесь вырос и стал поэтом.

Настоящим русским поэтом.

Более двух сотен лет назад пришли сюда казаки. То ли народ, то ли сословие.

Я думаю, все же сословие.

Сословие, занимавшее место между дворянами и разночинцами.

Со своим менталитетом.

Схожим с сибирским.

Почему так думаю? Исхожу из личного опыта. Жена у меня считала себя сибирячкой. Выросла на берегу Байкала. Гордилась этим. Обижалась, если напоминали, что родилась она, правда, в другом месте. А тут вдруг решила своей родословной поинтересоваться. И выяснилось, что оба ее деда, репрессированные в тридцатые годы, казаки. По отцу – донского войска, по матери – кубанского.

Вот и задумалась. Но характер, со стороны виднее, казацкий у нее. Другое дело, что не особо раз-



нится он с сибирским. Оба на воле да на преодолении препятствий замешаны.

Нет, не случаен Кавказ в истории России.

Как и Россия в истории Кавказа.

Свободолюбие и искусство политической дипломатии – вот основные уроки, получаемые на Кавказе и по сей день.

И именно Кавказ оплодотворил русскую культуру.

Но не только русская культура вышла оплодотворенной из многонационального горнила и социальных катаклизмов этого исторического соединения места и времени. Общественная мысль, критерии оценки элит, гражданские постулаты общества и отношения человека и государства начали формироваться именно здесь. Военная верхушка и терпеливые солдаты, проповедующие патриотизм, казаки, предпочитающие опасную свободу безопасному прозябанию в крепостничестве, ссыльные вольнодумцы, отчаянно-безрассудные, вышедшие на «декабрьскую площадь», рискованные авантюристы всех мастей и творческие люди – вот кто устремился сюда, на эти просторы, одержимые поиском новизны отношений, чувств, красок, звуков...

Сюда шел отборный люд, уверенный в себе, в своей удаче, фарте...

Все вместе, народы разных национальностей, вер, культур, все мы – кавказцы...

И неважно, что я родился совсем в другом месте России.

Живу на Кавказе.

А значит, кавказец.

Ставрополье в годы Первой мировой войны

100 лет назад в мировой истории произошло событие, которое перевернуло все мироустройство, захватило в водоворот боевых действий чуть ли не половину мира, привело к развалу могущественных империй и, как следствие, к волне революций – Великая война. Так ее называли наши прадеды. Она стала самой кровопролитной и жестокой из всех войн, какие мир знал до 1914 года. Никогда ещё противоборствующие стороны не выставляли таких огромных армий для взаимного уничтожения. Общая численность армий доходила до 70 млн. человек.

Потери России в Первой мировой войне составили свыше 2 миллионов погибших на фронтах и свыше 3 миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили 1 миллион человек.

Эта война отделена от нас жизнью нескольких поколений и тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю нашей страны и народа. Сегодня она



**АЛЕКСЕЙ
КРУГОВ**

Краеведение





стала далекой историей, но мы не должны забывать о трагических и героических событиях той жестокой войны, о наших земляках, простых русских солдатах, порой забытых и неизвестных, показавших на полях сражений примеры беззаветной храбрости, мужества, стойкости и воинской доблести.

Объявление войны

Известие о начале войны пришло в губернию 2 августа 1914 г. Волна патриотического подъема охватила практически все население. По городам и весям Ставрополья прошли массовые манифестации с заверениями в преданности Родине и престолу.

Вот один из типичных документов той поры. «Одухотворенное святостью долга и царского призыва, население Медвеженского уезда не замедлило поставить от мирных полей и нив под ратные знамена многие тысячи своих сынов, – отмечалось на одном из собраний. – Тревоги за них тонут в тревоге за землю родную, за будущность ее, неразъединимые в сознании и в сердце народном с царем-батюшкой. И, оставшиеся у своих домашних очагов, все мы, от мала до велика объятые тем же священным кличем царя к народу, не можем знать иных забот за время столь грозной брани, как готовность положить душу свою за царя и Родину». Крестьянские сходы единодушно выражали готовность стать «на защиту дорогой России», «отдать жизнь и имущество к изгнанию общего мирового врага».

В 1914 году российское общество переживало необыкновенное единение и патриотический подъем. Это настроение простых русских людей

мы чувствуем, листая подшивки ставропольских газет за тот первый военный год. Вот что писали корреспонденты газеты «Северокавказский край»: «Войну мужики принимают как что-то неизбежное. Чувствуется подъем духа. Такой подъем, какого не замечалось в минувшую японскую компанию. Народ считает войну правой и необходимой. Всколыхнулись все, затревожились. До войны в селах мало чем интересовались, газет не читали. Теперь нарасхват берут листки, жадно ища в них новых сведений о войне. Собираются толпами, говорят, читают, делают всевозможные предположения и догадки. Настроение приподнятое». Народный фольклор пополнился такими присловьями, как: «Коль немец прет, то, как не защищаться!?» В селах во множестве появились лубочные картинки, высмеивавшие немцев, патриотические плакаты тиражировались тысячами копий.

Наиболее ярко воодушевление выразилось в большом количестве последовавших следом за объявлением войны патриотических манифестаций, молебнов и шествий с портретами царя.

Из сообщений с мест. Село Казгулак. «Вот начался молебен. Все молящиеся были, как один, наэлектризованы патриотизмом. Многие пали ниц. Впереди несли портрет Государя и национальные флаги. Народ пел гимн и «Спаси, Господи, Люди Твоя». Слышались возгласы:

- Долой Германию и Австро-Венгрию!
- Да здравствует Русь и Государь-Батюшка!

Восторженное «ура» все росло и росло, разливаясь из края в край».

Несмотря на позитивное отношение к войне большей части ставропольского крестьянства



не всё было так гладко в сельских обществах. На территории губернии проявились факторы негативного толка, волновавшие мужиков. Среди них можно выделить: повышающуюся дороговизну, увеличение количества слухов и стихийные буйства ратников.

Из сообщений с мест. Село Михайловское. «Все запасные собрались к волостному совету для отправки в город. Лошадей годных для военных действий взято 575. Не обошлось без инцидента... Мужики не смогли забыть своей «беспричинной ненависти к земству» и разгромили до основания незаконченную еще земскую школу».

В уездах началась борьба с пьянством. Закрылись питейные заведения, «треклятые монополюшки», винные лавки. Но, по свидетельствам очевидцев, в губернии имелись многочисленные «тайные шинки», разные «увеселительные дома», где в любое время дня и ночи можно было купить «не только бутылку водки, но и целую четверть и даже ведро». Власти повсеместно призывали закрывать всевозможные притоны и беспощадно штрафовать нарушавших закон.

Сказала свое слово и церковь. Священник С. Никольский при большом стечении народа в кафедральном соборе произнес патриотическую проповедь: «Подаждь, Господи, царю нашему и воинству его на враги победу и одоление».

В журнале «Кавказские курорты» удалось найти уникальное свидетельство времени. Находившийся на Водах десятилетний престолонаследник царевич Алексей собственноручно начертать изволил: «За богом молитва, а за царем служба не пропадет».

Из дневника мещанина Никиты Окунева за 1914 г.: «Кто истинный зачинщик войны четырнадцатого года? Одни историки будут винить в этом сербов, другие – австрийцев, третьи – русских, четвертые – германцев. В их руках будут недоступные простому смертному документальные доказательства, но я, ничтожный современник этих великих событий, виню в войне всех «четырех». Народ сербский давно уже скомпрометировал себя домашними царубийствами и, вероятно, позапачкал свои руки в крови непричастной к политике супруги. Но Австрия могла бы удовлетвориться кратким ответом Сербии на свой драконовский ультиматум...»

«За веру, царя и Отечество!»

8 августа 1914 г. Ставропольская губерния была объявлена на положении чрезвычайной охраны. Начавшаяся мобилизация не вызвала серьезных трудностей у властей. Ее провели организованно и в срок. Дезертиров практически не было. В первые недели войны было мобилизовано 30 тысяч наших земляков.

По свидетельству председателя Государственной думы М.В. Родзянко «к мобилизации явилось 96% всех призывных». Это по стране. Показатель достаточно объективный.

Были случаи, когда призванные комиссией запасные нижние чины отказывались от медицинского освидетельствования. Мотивировка: «Я вполне здоров, годен для службы в войсках и не желаю напрасно отнимать время у приемной комиссии».



Пунктом сбора призванных – «гожих», так их тогда называли, стал ставропольский железнодорожный вокзал. Из воспоминаний очевидца: «Представьте торжественный момент: военный оркестр почти непрерывно играет гимн «Боже, царя храни!», за ним «Прощание славянки», настроение бодрое – всюду агитация. Мужики кричат «Ура!», женщины плачут и крестятся, бравый старичок призывает «бить супостата не щадя живота своего». Здесь же молодые ребята наяривают на балалайке:

*Немцу дома не сидится,
Ах, ты, немец-остроус,
Поднаскучил ему «бир»,
Я усов-то не боюсь,
Знать, желает немец биться,
Меня усом не спугаешь,
Коль нарушил с нами мир.
Я расейский, я не трус.*

Но вот раздается команда: «По вагонам!» Начинается торопливое прощание. Жены офицеров благословляют своих благоверных, многие вешают им на шеи чудотворные ладанки. Гудок паровоза – и вперед, на фронт. «За веру, царя и Отечество!».

В дороге – праздничное настроение, все уверены в победе и даже, скажу больше, наиболее ретивые из офицеров боятся опоздать к решительному сражению. Все убеждены, что война продлится недолго, от силы 2-3 месяца. Много говорят о будущих Георгиевских кавалерах».

В августе из Ставрополя отправились на фронт 83-й Самурский пехотный полк и Осетинский кон-

ный дивизион. Годом позже на Кавказский фронт была направлена 598-я Ставропольская пешая дружина. Ставропольцы воевали в Закавказье против турецкой армии, в Галиции, Румынии и Польше – против германских и австрийских войск.

В ходе боев на Западном фронте самурцы захватили 30 тыс. пленных и два знамени. До середины октября 1914 г. под ураганным огнем противника солдаты полка удерживали плацдарм на левом берегу Вислы у Ивангорода. За заслуги перед Отечеством командир Самурского полка К.А. Стефанович был произведен в генералы.

В первые месяцы войны солдаты массово слали родным с фронта письма, в которых говорили, что готовы сражаться до последнего и умереть за веру и отчизну. При этом забывались и тяготы военной службы, и нехватка провизии, и тяжёлые условия, в которых проходили боевые действия.

Из воспоминаний штабс-капитана В.А. Стахурского, офицера 83-го Самурского пехотного полка, в котором служило немало наших земляков: «За год войны полк потерял почти весь кадровый офицерский состав, большое количество солдат... Приходило пополнение – молодые офицеры, только что выпущенные из военных училищ, солдаты-бородачи, лет за сорок, которые почти забыли военное дело, или юнцы-новобранцы, два-три месяца обучавшиеся шагистике, да раз побывавшие на стрельбище. Приходили они почти все без оружия, одежда полувоенная – ботинки и брюки штатские».

Из писем с фронта: «Мы перешли Вислу, заняли позиции и стали ожидать неприятеля. Погода была отвратительная: дождь, сырость, непрохо-



димая грязь. Кругом – пусто, население бежало. И вот из леса показались немцы. Густые колонны их подошли к нам на ружейный выстрел... Грянули наши ружья, защелкали пулеметы, страшным роем неслись пули. Заметались немцы, сбились в кучи, целые ряды их падали как подкошенные... Все поле было устлано трупами. Вскоре мы подошли к укрепленной немцами деревушке и под прикрытием темноты намеревались атаковать ее. Но противник встретил нас шрапнелью... Убийственный огонь их не давал ходу. Мы залегли на дороге и немного передохнули... Немцы поднялись нам навстречу и начался страшный рукопашный бой... трудно передать – что тут было. Кто уцелел?»

В губернских газетах стали публиковать «скорбные списки» убитых, раненых, пропавших без вести ставропольцев. Вот один из них: «Рядовой Бардаков Захар, убит 20 декабря, православный, холост, уроженец Медвеженского уезда, Исмаилов Исафил, ранен 20 декабря, магометанин, женат, уроженец Ставропольского уезда, рядовой Шеян А.А., без вести пропал 7 декабря, уроженец Медвеженского уезда, рядовой Степанов Кузьма, ранен 14 ноября, холост, уроженец г. Святой Крест».

Кавалеры Святого Георгия. Подвиг сестры милосердия

Орден Святого Георгия, Георгиевский крест... Первая награда овеяна славой беспримерного подвига российских офицеров, вторая – российских солдат на полях сражений. Слова «Герой» и «Георгиевский кавалер» стояли вместе. Сотник



1-го Донского казачьего полка Сергей Владимирович Болдырев был первым, кого наградили в ту войну «офицерским Георгием» 4-й степени. Награды он удостоился за то, что «20 августа 1914 г. при набеге на Алленштейн, высланный в разведку, проник в середину передвигающихся частей противника, был окружен, но, тем не менее, доставил своевременно важное донесение, чем значительно помог своему отряду». Среди первых «смертью запечатлевших подвиг», как писалось в приказах о посмертных награждениях, был знаменитый летчик штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров. Именно он совершил первый в мире воздушный таран и героически погиб в начале войны (26 августа 1914 г.).

18 сентября 1915 г. Петроградское телеграфное агентство впервые сообщило о подвиге сестры милосердия из Ставрополя Риммы Ивановой. «Когда в бою с немцами, – говорилось в сообщении, – были убиты все офицеры, сестра милосердия собрала вокруг себя оставшихся в живых солдат и бросилась с ними на неприятельские окопы, где ее смертельно ранило. Р.М. Иванова стала единственной женщиной, награжденной орденом Святого Георгия 4-й степени в Первую мировую войну». Ее прах доставили в Ставрополь. Похоронили Римму Иванову со всеми воинскими почестями в ограде Андреевской церкви 26 сентября 1915 г. Для увековечения памяти героини губернские власти учредили стипендии ее имени в фельдшерско-акушерской школе и гимназии. В Ставрополе решили установить памятник в ее честь.

Несколько слов о кавалерах солдатского Георгия. Всего за годы войны было вручено Георгиев-



ских крестов: 1-й степени – около 33 тысяч, 2-й степени около 65 тысяч, 3-й степени – около 289 тысяч, 4-й степени – около 1 миллиона 200 тысяч. Донской казак Кузьма Фирсович Крючков был одним из наиболее известных кавалеров солдатского Георгия. Слава о нем гремела на всю страну, как о воине, оказавшем упорное сопротивление превосходящим силам противника.

Мужество и героизм проявили на той войне тысячи наших земляков. Среди них полные Георгиевские кавалеры:

Книга В.И., с. Митрофановское (с. Апанасенковское).

Вацько Н.А., с. Тахта.

Трунов К.А. с. Терновское (с. Труновское).

Шпак Ф.Г. Медвеженский уезд (Красногвардейский район).

Одним из первых полных кавалеров солдатского Георгия на Ставрополье стал Василий Иванович Книга. С 1914 года служил в 268-м Грозненском пехотном полку 66-й пехотной дивизии Кавказского фронта. За первого плененного турецкого «языка», который сидел в дозоре у мосточка через шумливую горную речушку и видимо задремал, Василий Иванович получил первый Георгиевский крест. За дальнейшие боевые отличия награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней, золотым бельгийским крестом и медалями. Вместе с Кузьмой Крючковым был на приёме у Николая II.

В сражениях на Юго-Западном фронте отлично проявил себя Туркменский санитарный отряд, который был сформирован в Ставропольской губернии. «На передовой члены отряда работали безукоризненно, подвергаясь действию неприятельского

огня, – отмечалось в одном из приказов. – За ноябрь 1914 г. были сделаны перевязки 1122 раненым, оказана помощь 279 больным, эвакуировано 1208 чел. Всем особо нуждающимся розданы из частных пожертвований теплые вещи». В этом отряде в качестве сестры милосердия находилась дочь губернатора Елена Брониславовна Мавило. За мужество, проявленное в боях, она была награждена Георгиевской медалью.

Это на фронте. А в тылу?

В начале 1915 г. в губернии, а также в городах Кавказских Минеральных Вод действовало около 40 госпиталей, в которых лечилось около 13 тыс. раненых. Жители губернии принимали участие в оборудовании госпиталей, вносили свой посильный вклад в организацию попечительств «для помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям».

Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор: «С началом войны в здании Андреевско-Владимирского братства открылся епархиальный госпиталь... На нужды увечных воинов было пожертвовано около 10 тыс. руб. Для солдат действующей армии на склад при архиерейском доме поступили многие сотни сорочек, полотенец, платков...»

Из телеграммы вице-губернатора Шервашидзе: «Земствами губернии ассигновано на призрение семей (призванных на службу солдат – А.К.) 311 тыс. руб.». Ставропольское губернское земское собрание (1916 г.) послало телеграмму на имя командующего Юго-Западным фронтом генерала А.А. Брусилова, в которой поблагодарило его за «твердое и мудрое предводительство войсками»,



выразило искреннее пожелание «дальнейших успехов доблестным армиям и их вождю»...А впереди был революционный 1917 год и завершение войны. И Россия, увы, не в числе победителей.

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу было подписано перемирие между странами Антанты и Германией. Сигнал «прекратить огонь» был передан по всему фронту ровно в 11 утра. В результате доселе невиданных по масштабам боевых действий погибли и оказались искалеченными десятки миллионов людей, закончили свое существование четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

Сведения об авторах

Абрамов Яков Васильевич (1858 – 1906). Выдающийся деятель отечественной культуры и общественной мысли. Основоположник издания серии книг «Жизнь замечательных людей» (1889 г.). Публицист. Писатель. Общественный деятель. Родился в Ставрополе. Окончил Кавказскую духовную семинарию. Учился в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. За политические воззрения был выслан на Украину. Затем сотрудничал в журнале «Отечественные записки», возглавляемом Салтыковым-Щедриным. Широкую известность ему принесли статьи, рассказы и очерки, посвященные жизни простого народа. Последние шестнадцать лет прожил в родном городе, активно публикуясь в столичной периодике. Умер и похоронен в Ставрополе.

Белоконь Сергей Владимирович (1952 – 2000). Известный ставропольский журналист и литератор. Родился в селе Преградном на Ставрополье. Закончил филфак Ленинградского государственного университета. Занимался литературоведением, журналистикой, возглавлял газету «Молодой ленинец», работал зам. главного редактора «Ставропольской правды». Автор трех книг прозы.

Блохин Николай Федорович. Родился в 1952 году в с. Калюжном на Ставрополье. Журналист, литературовед. Лауреат премий им. Б. Горбатова Союза журналистов Украины, Всероссийской журналистской «Пегас-2004». Исследователь жизни и творчества выдающихся соотечественников. Член Союза журналистов России. Живет в Ставрополе.



Бутенко Владимир Павлович. Родился в 1952 году в хуторе Дарьевка Ростовской области. Член Союза писателей СССР и России. Трижды лауреат литературной премии губернатора Ставропольского края им. Губина, лауреат премии журнала «Наш современник». Живет в Ставрополе.

Головко Вячеслав Михайлович. Родился в 1944 году. Известный российский литературовед, исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой. Доктор филологических наук. Профессор. Автор более 250-ти научных и литературоведческих работ. Лауреат общероссийских и литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Ставрополе.

Грязев Василий Никанорович. (1925 – 2002). Родился на Ставрополье. Труженик тыла в годы ВОВ. Окончил Кабардино-Балкарский пединститут. Преподавал в школе, работал журналистом в различных СМИ, возглавлял Ставропольское книжное издательство. Несколько лет был главным редактором альманаха «Ставрополье». Активное участие принимал в воспитании литературной смены.

Иванова Елена Львовна. Родилась на Брянщине. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газетах, на телевидении. Автор десяти сборников стихотворений. Член Союза писателей СССР и России. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Живет в Ставрополе.

Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогиче-

ческий институт и Институт российской истории РАН. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Кустов Виктор Николаевич. Родился в 1951 году в Смоленской области. Прозаик. Журналист. Драматург. Лауреат премии «Литературный Олимп». Главный редактор журнала «Южная звезда». Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Мушаилов Александр Давыдович. Родился в 1954 году в Алма-Ате. С детства увлекался поэзией. Сменил несколько профессий. Публиковался в коллективных сборниках и периодической печати. Живет в Ставрополе.

Нарыжная Валентина Васильевна. Родилась в хуторе Гремучем на Ставрополье. Закончила культпросветучилище. Долгие годы работала директором станичного Дома культуры. Автор поэтических сборников: «Земные чары», «Колокола России» и др. Лауреат краевой музыкальной премии. Член Союза писателей России. Живет в станице Новомарьево-Кавказской.

Петросян Михаил Суренович. Родился в Ставрополе. Известный ставропольский радиожурналист. Окончил журналистский факультет МГУ. Несколько десятилетий проработал на краевом радио. Признанный мастер во всех жанрах радиожурналистики. Лауреат журналистской премии им. Г. Лопатина. Живет в Ставрополе.



Подольский Станислав Яковлевич. Родился в 1940 году в Кисловодске. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Автор многих книг стихотворений и прозы. Признанный воспитатель литературной смены. Член Союза российских писателей. Живет в Кисловодске.

Рыбалко Сергей Николаевич. Родился в 1950 году в Армавире. Окончил Калмыцкий госуниверситет. Автор многих сборников стихотворений и поэм. Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий. Возглавляет литературное объединение и одноименный альманах «Синегорье». Живет в Ессентуках.